КИЕВСКИЕ ВЕДЬМЫ



Киевские ведьмы

Владимир Фёдорович Одоевский, Валерий Яковлевич Брюсов, Николай Михайлович Карамзин, Орест Михайлович Сомов, Николай Васильевич Гоголь

Аннотация
Николай Васильевич Гоголь, Орест Михайлович Сомов, Валерий Яковлевич Брюсов, Николай Михайлович Карамзин, Владимир Фёдорович Одоевский. Киевские ведьмы. Сборник
Николай Васильевич Гоголь. Страшная месть
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

XII
XIII
XIV
XV
XVI
Н. В. Гоголь. Вий
Орест Михайлович Сомов. Киевские ведьмы
Валерий Яковлевич Брюсов. В зеркале. (Из архива психиатра)
Николай Михайлович Карамзин. Остров Борнгольм
Владимир Фёдорович Одоевский. Саламандра
I. Южный берег Финляндии в начале XVIII столетия
II. Эльса

Аннотация

Самые захватывающие произведения, входящие в «золотой фонд» мировой литературы ужасов. Любители пощекотать себе нервы не должны проходить мимо этой серии! На страницах книг оживут самые страшные ночные кошмары, от древних богов Лавкрафта до ведьм Гоголя. Читатель прикоснётся к древним оккультным тайнам, посетит ужасные и таинственные миры, созданные фантазией великих писателей. Не читайте эти книги на ночь!

Николай Васильевич Гоголь, Орест Михайлович Сомов, Валерий Яковлевич Брюсов, Николай Михайлович Карамзин, Владимир Фёдорович Одоевский

Киевские ведьмы

Сборник

* * *

© Оформление: ООО «Феникс», 2021
© Иллюстрации: Иванов И., 2019
© В оформлении обложки использованы иллюстрации по лицензии Shutterstock.com



Николай Васильевич Гоголь
Страшная месть



I

Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости. В старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Приехал на гнедом коне своем и запорожец Микитка прямо с разгульной попойки с Перешляя поля, где поил он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей красным вином. Приехал и названый брат есаула, Данило Бурульбаш, с другого берега Днепра, где промеж двумя горами был его хутор, с молодою женою Катериною и с годовым сыном. Дивилися гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, нарядной сукне и исподнице из голубого полутабенеку, сапогам с серебряными подковами; но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. Всего только год жил он на Заднепровье, а двадцать один пропадал без вести и воротился к дочке своей, когда уже та вышла замуж и родила сына. Он, верно, много нарассказал бы дивного. Да как и не рассказать, бывши так долго в чужой земле! Там все не так: и люди не те, и церквей

Христовых нет… Но он не приехал.

Гостям поднесли варенуху с изюмом и сливами и на немалом блюде коровай. Музыканты принялись за исподку его, спеченную вместе с деньгами, и, на время притихнув, положили возле себя цимбалы, скрыпки и бубны. Между тем молодицы и дивчата, утершись шитыми платками, выступали снова из рядов своих; а парубки, схватившись в боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись им навстречу — как старый есаул вынес две иконы благословить молодых. Те иконы достались ему от честного схимника, старца Варфоломея. Не богата на них утварь, не горит ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме. Приподняв иконы вверх, есаул готовился сказать короткую молитву… как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети; а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их козака. Кто он таков — никто не знал. Но уже он протанцевал на славу козачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих запрыгали зеленые очи, губы

засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак — старик.

— Это он! Это он! — кричали в толпе, тесно прижимаясь друг к другу.

— Колдун показался снова! — кричали матери, хватая на руки детей своих.

Величаво и сановито выступил вперед есаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы:

— Пропади, образ сатаны, тут тебе нет места! — и, зашипев и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик.

Пошли, пошли и зашумели, как море в непогоду, толки и речи между народом.

— Что это за колдун? — спрашивали молодые и небывалые люди.

— Беда будет! — говорили старые, крутя головами.

И везде, по всему широкому подворью есаула, стали собираться в кучки и слушать истории про чудного колдуна. Но все почти говорили разно, и наверно никто не мог рассказать про него.

На двор выкатили бочку меду и немало поставили ведер грецкого вина. Все повеселело снова. Музыканты грянули; дивчата, молодицы,

лихое козачество в ярких жупанах понеслись. Девяностолетнее и столетнее старье, подгуляв, пустилось и себе приплясывать, поминая недаром пропавшие годы. Пировали до поздней ночи, и пировали так, как теперь уже не пируют. Стали гости расходиться, но мало побрело восвояси: много осталось ночевать у есаула на широком дворе; а еще больше козачества заснуло само, непрошеное, под лавками, на полу, возле коня, близ хлева; где пошатнулась с хмеля козацкая голова, там и лежит и храпит на весь Киев.

II

Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто дамасскою дорогою и белою, как снег, кисеею покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен.

Посереди Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца; черные козацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны.

Отчего не поют козаки? Не говорят ни о том, как уже ходят по Украйне ксендзы и перекрещивают козацкий народ в католиков; ни о том, как два дни билась при Соленом озере орда. Как им петь, как говорить про лихие дела: пан их Данило призадумался, и рукав кармазинного жупана опустился из дуба и черпает воду; пани их Катерина тихо колышет дитя и не сводит с него очей, а на незастланную полотном нарядную сукню серою пылью валится вода.

Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеленые леса! Горы те — не горы: подошвы у них нет, внизу их, как и вверху, острая вершина, и под ними и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, — не

леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бородою и над волосами высокое небо. Те луга — не луга: то зеленый пояс, перепоясавший посередине круглое небо, и в верхней половине и в нижней половине прогуливается месяц.

Не глядит пан Данило по сторонам, глядит он на молодую жену свою.

— Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина, вдалася в печаль?

— Я не в печаль вдалася, пан мой Данило! Меня устрашили чудные рассказы про колдуна. Говорят, что он родился таким страшным… и никто из детей сызмала не хотел играть с ним. Слушай, пан Данило, как страшно говорят: что будто ему все чудилось, что все смеются над ним. Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь человеком, и ему тотчас показывалось, что он открывает рот и выскаливает зубы. И на другой день находили мертвым того человека. Мне чудно, мне страшно было, когда я слушала эти рассказы, — говорила Катерина, вынимая платок и вытирая им лицо спавшего на руках дитяти. На платке были вышиты ею красным шелком листья и ягоды.

Пан Данило ни слова и стал поглядывать на темную сторону, где далеко из-за леса чернел зем-

ляной вал, из-за вала подымался старый замок. Над бровями разом вырезались три морщины; левая рука гладила молодецкие усы.

— Не так еще страшно, что колдун, — говорил он, — как страшно то, что он недобрый гость. Что ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышал, что хотят ляхи строить какую-то крепость, чтобы перерезать нам дорогу к запорожцам. Пусть это правда… Я разметаю чертовское гнездо, если только пронесется слух, что у него какой-нибудь притон. Я сожгу старого колдуна, так что и воронам нечего будет расклевать. Однако ж, думаю, он не без золота и всякого добра. Вот где живет этот дьявол! Если у него водится золото… Мы сейчас будем плыть мимо крестов — это кладбище! Тут гниют его нечистые деды. Говорят, они все готовы были себя продать за денежку сатане с душою и ободранными жупанами. Если ж у него точно есть золото, то мешкать нечего теперь: не всегда на войне можно добыть…

— Знаю, что затеваешь ты. Ничего не предвещает доброго мне встреча с ним. Но ты так тяжело дышишь, так сурово глядишь, очи твои так угрюмо надвинулись бровями!..

— Молчи, баба! — с сердцем сказал Данило. — С вами кто свяжется, сам станет бабой. Хлопец,

дай мне огня в люльку! — тут оборотился он к одному из гребцов, который, выколотивши из своей люльки горячую золу, стал перекладывать ее в люльку своего пана. — Пугает меня колдуном! — продолжал пан Данило. — Козак, слава Богу, ни чертей, ни ксендзов не боится. Много было бы проку, если бы мы стали слушаться жен. Не так ли, хлопцы? Наша жена — люлька да острая сабля!

Катерина замолчала, потупивши очи в сонную воду; а ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть середи ночи.

Дуб повернул и стал держаться лесистого берега. На берегу виднелось кладбище: ветхие кресты толпились в кучку. Ни калина не растет меж ними, ни трава не зеленеет, только месяц греет их с небесной вышины.

— Слышите ли, хлопцы, крики? Кто-то зовет нас на помощь! — сказал пан Данило, оборотясь к гребцам своим.

— Мы слышим крики, и кажется, с той стороны, — разом сказали хлопцы, указывая на кладбище.

Но все стихло. Лодка поворотила и стала огибать выдавшийся берег. Вдруг гребцы опустили весла и недвижно уставили очи. Остановился и

пан Данило: страх и холод прорезался в козацкие жилы.

Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса; на пальцах когти длинные, еще длиннее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало у него и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. «Душно мне! душно!» — простонал он диким, нечеловечьим голосом. Голос его, будто нож, царапал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю. Зашатался другой крест, и опять вышел мертвец, еще страшнее, еще выше прежнего; весь зарос, борода по колена и еще длиннее костяные когти. Еще диче закричал он: «Душно мне!» — и ушел под землю. Пошатнулся третий крест, поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись высоко над землею. Борода по самые пяты; пальцы с длинными когтями вонзились в землю. Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца, и закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить его желтые кости…

Дитя, спавшее на руках у Катерины, вскрикнуло и пробудилось. Сама пани вскрикнула. Гребцы пороняли шапки в Днепр. Сам пан вздрогнул.

Все вдруг пропало, как будто не бывало; однако

ж долго хлопцы не брались за весла.

Заботливо поглядел Бурульбаш на молодую жену, которая в испуге качала на руках кричавшее дитя, прижал ее к сердцу и поцеловал в лоб.

— Не пугайся, Катерина! Гляди: ничего нет! — говорил он, указывая по сторонам. — Это колдун хочет устрашить людей, чтобы никто не добрался до нечистого гнезда его. Баб только одних он напугает этим! Дай сюда на руки мне сына! — при сем слове поднял пан Данило своего сына вверх и поднес к губам. — Что, Иван, ты не боишься колдунов? «Нет, говори, тятя, я козак». Полно же, перестань плакать! Домой приедем! Приедем домой — мать накормит кашей, положит тебя спать в люльку, запоет:

Люди, люди, люди!
Люди, сынку, люди!
Да вырастай, вырастай в забаву!
Козачеству на славу,
Вороженькам в расправу!

Слушай, Катерина, мне кажется, что отец твой не хочет жить в ладу с нами. Приехал угрюмый, суровый, как будто сердится… Ну, недоволен, зачем и приезжать? Не хотел выпить за козацкую волю! Не покачал на руках дитяти! Сперва было

я ему хотел поверить все, что лежит на сердце, да не берет что-то, и речь заикнулась. Нет, у него не козацкое сердце! Козацкие сердца, когда встретятся где, как не выбьются из груди друг другу навстречу! Что, мои любые хлопцы, скоро берег? Ну, шапки я вам дам новые. Тебе, Стецько, дам выложенную бархатом и золотом. Я ее снял вместе с головою у татарина. Весь его снаряд достался мне; одну только его душу я выпустил на волю. Ну, причаливай! Вот, Иван, мы и приехали, а ты все плачешь! Возьми его, Катерина!

Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля: то дедовские хоромы пана Данила. За ними еще гора, а там уже и поле, а там хоть сто верст пройди, не сыщешь ни одного козака.

III

Хутор пана Данила между двумя горами, в узкой долине, сбегающей к Днепру. Невысокие у него хоромы: хата на вид, как и у простых Козаков, и в ней одна светлица; но есть где поместиться там и ему, и жене его, и старой прислужнице, и десяти отборным молодцам. Вокруг стен вверху идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть меж ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья. Волею и неволею перешли они от татар, турок и ляхов; немало зато и вызубрены. Глядя на них, пан Данило как будто по значкам припоминал свои схватки. Под стеною, внизу, дубовые гладкие вытесанные лавки. Возле них, перед лежанкою, висит на веревках, продетых в кольцо, привинченное к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данило. На лежанке старая прислужница. В люльке тешится и убаюкивается малое дитя. На полу покотом ночуют молодцы. Но козаку лучше спать на гладкой земле при вольном небе; ему не пуховик и

не перина нужна; он мостит себе под голову свежее сено и вольно протягивается на траве. Ему весело, проснувшись середи ночи, взглянуть на высокое, засеянное звездами небо и вздрогнуть от ночного холода, принесшего свежесть козацким косточкам. Потягиваясь и бормоча сквозь сон, закуривает он люльку и закутывается крепче в теплый кожух.

Не рано проснулся Бурульбаш после вчерашнего веселья и, проснувшись, сел в углу на лавке и начал наточивать новую, вымененную им турецкую саблю; а пани Катерина принялась вышивать золотом шелковый рушник. Вдруг вошел Катеринин отец, рассержен, нахмурен, с заморскою люлькою в зубах, приступил к дочке и сурово стал выспрашивать ее, что за причина тому, что так поздно воротилась она домой.

— Про эти дела, тесть, не ее, а меня спрашивать! Не жена, а муж отвечает. У нас уже так водится, не погневайся! — говорил Данило, не оставляя своего дела. — Может, в иных неверных землях этого не бывает — я не знаю.

Краска выступила на суровом лице тестя и очи дико блеснули.

— Кому ж, как не отцу, смотреть за своею дочкой! — бормотал он про себя. — Ну, я тебя

спрашиваю: где таскался до поздней ночи?

— А вот это дело, дорогой тесть! На это я тебе скажу, что я давно уже вышел из тех, которых бабы пеленают. Знаю, как сидеть на коне. Умею держать в руках и саблю острую. Еще кое-что умею… Умею никому и ответа не давать в том, что делаю.

— Я вижу, Данило, я знаю, ты желаешь ссоры! Кто скрывается, у того, верно, на уме недоброе дело.

— Думай себе что хочешь, — сказал Данило, — думаю и я себе. Слава Богу, ни в одном еще бесчестном деле не был; всегда стоял за веру православную и отчизну — не так, как иные бродяги таскаются Бог знает где, когда православные бьются насмерть, а после нагрянут убирать не ими засеянное жито. На униатов даже не похожи: не заглянут в божию церковь. Таких бы нужно допросить порядком, где они таскаются.

— Э, козак! Знаешь ли ты… я плохо стреляю: всего за сто сажен пуля моя пронизывает сердце. Я и рублюсь незавидно: от человека остаются куски мельче круп, из которых варят кашу.

— Я готов, — сказал пан Данило, бойко перекрестивши воздух саблею, как будто знал, на что ее выточил.

— Данило! — закричала громко Катерина, ухватившись его за руку и повиснув на ней. — Вспомни, безумный, погляди, на кого ты подымаешь руку! Батько, твои волосы белы, как снег, а ты разгорелся, как неразумный хлопец!

— Жена! — крикнул грозно пан Данило. — Ты знаешь, я не люблю этого. Ведай свое бабье дело!

Сабли страшно звукнули; железо рубило железо, и искрами, будто пылью, обсыпали себя козаки. С плачем ушла Катерина в особую светлицу, кинулась в постель и закрыла уши, чтобы не слышать сабельных ударов. Но не так худо бились козаки, чтобы можно было заглушить их удары. Сердце ее хотело разорваться на части. По всему ее телу слыхала она, как проходили звуки: тук, тук. «Нет, не вытерплю, не вытерплю… Может, уже алая кровь бьет ключом из белого тела. Может, теперь изнемогает мой милый, а я лежу здесь!» И вся бледная, едва переводя дух, вошла в хату.

Ровно и страшно бились казаки. Ни тот, ни другой не одолевает. Вот наступает Катеринин отец — подается пан Данило. Наступает пан Данило — подается суровый отец, и опять наравне. Кипят. Размахнулись… Ух! Сабли звенят… и, гремя, отлетели в сторону клинки.

— Благодарю тебя, Боже! — сказала Катерина и вскрикнула снова, когда увидела, что козаки взялись за мушкеты. Поправили кремни, взвели курки.

Выстрелил пан Данило — не попал. Нацелился отец… Он стар; он видит не так зорко, как молодой, однако ж не дрожит его рука. Выстрел загремел… Пошатнулся пан Данило. Алая кровь выкрасила левый рукав козацкого жупана.

— Нет! — закричал он. — Я не продам так дешево себя! Не левая рука, а правая атаман. Висит у меня на стене турецкий пистолет; еще ни разу во всю жизнь не изменял он мне. Слезай с стены, старый товарищ! Покажи другу услугу! — Данило протянул руку.

— Данило! — закричала в отчаянии, схвативши его за руки и бросившись ему в ноги, Катерина. — Не за себя молю. Мне один конец: та недостойная жена, которая живет после своего мужа; Днепр, холодный Днепр будет мне могилою… Но погляди на сына, Данило, погляди на сына! Кто пригреет бедное дитя? Кто приголубит его? Кто выучит его летать на вороном коне, биться за волю и веру, пить и гулять по-козацки? Пропадай, сын мой, пропадай! Тебя не хочет знать отец твой! Гляди, как он отворачивает лицо свое. О! Я теперь

знаю тебя! Ты зверь, а не человек! У тебя волчье сердце, а душа лукавой гадины. Я думала, что у тебя капля жалости есть, что в твоем каменном теле человечье чувство горит. Безумно же я обманулась! Тебе это радость принесет. Твои кости станут танцевать в гробе с веселья, когда услышат, как нечестивые звери ляхи кинут в пламя твоего сына, когда сын твой будет кричать под ножами и окропом. О, я знаю тебя! Ты рад бы из гроба встать и раздувать шапкою огонь, взвихрившийся под ним!

— Постой, Катерина! Ступай, мой ненаглядный Иван, я поцелую тебя! Нет, дитя мое, никто не тронет волоска твоего. Ты вырастешь на славу отчизны; как вихорь, будешь ты летать перед козаками, с бархатною шапочкою на голове, с острою саблею в руке. Дай, отец, руку! Забудем бывшее между нами. Что сделал перед тобою неправого — винюсь.

Что же ты не даешь руки? — говорил Данило отцу Катерины, который стоял на одном месте, не выражая на лице своем ни гнева, ни примирения.

— Отец! — вскричала Катерина, обняв и поцеловав его. — Не будь неумолим, прости Данила: он не огорчит больше тебя!

— Для тебя только, моя дочь, прощаю! — отвечал он, поцеловав ее и блеснув странно очами. Катерина немного вздрогнула: чуден показался ей и поцелуй, и странный блеск очей. Она облокотилась на стол, на котором перевязывал раненую свою руку пан Данило, передумывая, что худо и не по-козацки сделал, просивши прощения, не будучи ни в чем виноват.

IV

Блеснул день, но не солнечный: небо хмурилось и тонкий дождь сеялся на поля, на леса, на широкий Днепр. Проснулась пани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, и вся она смутна и неспокойна.

— Муж мой милый, муж дорогой, чудный мне сон снился!

— Какой сон, моя любая пани Катерина?

— Снилось мне, чудно, право, и так живо, будто наяву, — снилось мне, что отец мой есть тот самый урод, которого мы видали у есаула. Но прошу тебя, не верь сну. Каких глупостей не привидится! Будто я стояла перед ним, дрожала вся, боялась, и от каждого слова его стонали мои жилы. Если бы ты слышал, что он говорил…

— Что же он говорил, моя золотая Катерина?

— Говорил: «Ты посмотри на меня, Катерина, я хорош! Люди напрасно говорят, что я дурен. Я буду тебе славным мужем. Посмотри, как я поглядываю очами!» Тут навел он на меня огненные очи, я вскрикнула и пробудилась.

— Да, сны много говорят правды. Однако ж знаешь ли ты, что за горою не так спокойно? Чуть

ли не ляхи стали выглядывать снова. Мне Горобець прислал сказать, чтобы я не спал. Напрасно только он заботится; я и без того не сплю. Хлопцы мои в эту ночь срубили двенадцать засеков. Посполитство будем угощать свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуют и от батогов.

— А отец знает об этом?

— Сидит у меня на шее твой отец! Я до сих пор разгадать его не могу. Много, верно, он грехов наделал в чужой земле. Что ж, в самом деле, за причина: живет около месяца и хоть бы раз развеселился, как добрый козак! Не захотел выпить меду! Слышишь, Катерина, не захотел меду выпить, который я вытрусил у Крестовских жидов. Эй, хлопец! — крикнул пан Данило. — Беги, малый, в погреб да принеси жидовского меду! Горелки даже не пьет! Экая пропасть! Мне кажется, пани Катерина, что он и в господа Христа не верует. А? Как тебе кажется?

— Бог знает что говоришь ты, пан Данило!

— Чудно, пани! — продолжал Данило, принимая глиняную кружку от козака. — Поганые католики даже падки до водки; одни только турки не пьют. Что, Стецько, много хлебнул меду в подвале?

— Попробовал только, пан!

— Лжешь, собачий сын! Вишь, как мухи напали на усы! Я по глазам вижу, что хватил с полведра. Эх, козаки! Что за лихой народ! Все готов товарищу, а хмельное высушит сам. Я, пани Катерина, что-то давно уже был пьян. А?

— Вот давно! А в прошедший…

— Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью! А вот и турецкий игумен влазит в дверь! — проговорил он сквозь зубы, увидя нагнувшегося, чтоб войти в дверь, тестя.

— А что ж это, моя дочь, — сказал отец, снимая с головы шапку и поправив пояс, на котором висела сабля с чудными каменьями, — солнце уже высоко, а у тебя обед не готов.

— Готов обед, пан отец, сейчас поставим! Вынимай горшок с галушками! — сказала пани Катерина старой прислужнице, обтиравшей деревянную посуду. — Постой, лучше я сама выну, — продолжала Катерина, — а ты позови хлопцев.

Все сели на полу в кружок: против покута пан отец, по левую руку пан Данило, по правую руку пани Катерина и десять наивернейших молодцов в синих и желтых жупанах.

— Не люблю я этих галушек! — сказал пан отец, немного поевши и положивши ложку. — Ника-

кого вкуса нет!

«Знаю, что тебе лучше жидовская лапша», — подумал про себя Данило.

— Отчего же, тесть, — продолжал он вслух, — ты говоришь, что вкуса нет в галушках? Худо сделаны, что ли? Моя Катерина так делает галушки, что и гетьману редко достается есть такие. А брезгать ими нечего. Это христианское кушанье! Все святые люди и угодники божии едали галушки.

Ни слова отец; замолчал и пан Данило.

Подали жареного кабана с капустою и сливами.

— Я не люблю свинины! — сказал Катеринин отец, выгребая ложкою капусту.

— Для чего же не любить свинины? — сказал Данило. — Одни турки и жиды не едят свинины.

Еще суровее нахмурился отец.

Только одну лемишку с молоком и ел старый отец и потянул вместо водки из фляжки, бывшей у него в пазухе, какую-то черную воду.

Пообедавши, заснул Данило молодецким сном и проснулся только около вечера. Сел и стал писать листы в козацкое войско; а пани Катерина начала качать ногою люльку, сидя на лежанке. Сидит пан Данило, глядит левым глазом на писание, а правым в окошко. А из окошка далеко

блестят горы и Днепр. За Днепром синеют леса. Мелькает сверху прояснившееся ночное небо. Но не далеким небом и не синим лесом любуется пан Данило: глядит он на выдавшийся мыс, на котором чернел старый замок. Ему почудилось, будто блеснуло в замке огнем узенькое окошко. Но все тихо. Это, верно, показалось ему. Слышно только, как глухо глумит внизу Днепр и с трех сторон, один за другим, отдаются удары мгновенно пробудившихся волн. Он не бунтует. Он, как старик, ворчит и ропщет; ему все не мило; все переменилось около него; тихо враждует он с прибережными горами, лесами, лугами и несет на них жалобу в Черное море.

Вот по широкому Днепру зачернела лодка, и в замке снова как будто блеснуло что-то. Потихоньку свистнул Данило, и выбежал на свист верный хлопец.

— Бери, Стецько, с собою скорее острую саблю да винтовку да ступай за мною!

— Ты идешь? — спросила пани Катерина.

— Иду, жена. Нужно обсмотреть все места, все ли в порядке.

— Мне, однако ж, страшно оставаться одной. Меня сон так и клонит. Что, если мне приснится то же самое? Я даже не уверена, точно ли то сон

был — так это происходило живо.

— С тобою старуха остается; а в сенях и на дворе спят козаки!

— Старуха спит уже, а козакам что-то не верится. Слушай, пан Данило, замкни меня в комнате, а ключ возьми с собою. Мне тогда не так будет страшно; а козаки пусть лягут перед дверями.

— Пусть будет так! — сказал Данило, стирая пыль с винтовки и сыпля на полку порох.

Верный Стецько уже стоял одетый во всей козацкой сбруе. Данило надел смушевую шапку, закрыл окошко, задвинул засовами дверь, замкнул и вышел потихоньку из двора, промеж спавшими своими козаками, в горы.

Небо почти все прочистилось. Свежий ветер чуть-чуть навевал с Днепра. Если бы не слышно было издали стенания чайки, то все бы казалось онемевшим. Но вот почудился шорох… Бурульбаш с верным слугою тихо спрятался за терновник, прикрывавший срубленный засек. Кто-то в красном жупане, с двумя пистолетами, с саблею при боку, спускался с горы.

— Это тесть! — проговорил пан Данило, разглядывая его из-за куста. — Зачем и куда ему идти в эту пору? Стецько! Не зевай, смотри в оба глаза, куда возьмет дорогу пан отец. — Человек в крас-

ном жупане сошел на самый берег и поворотил к выдавшемуся мысу. — А! Вот куда! — сказал пан Данило. — Что, Стецько, ведь он как раз потащился к колдуну в дупло.

— Да, верно, не в другое место, пан Данило! Иначе мы бы видели его на другой стороне. Но он пропал около замка.

— Постой же, вылезем, а потом пойдем по следам. Тут что-нибудь да кроется. Нет, Катерина, я говорил тебе, что отец твой недобрый человек; не так он и делал все, как православный.

Уже мелькнули пан Данило и его верный хлопец на выдавшемся берегу. Вот уже их и не видно. Непробудный лес, окружавший замок, спрятал их. Верхнее окошко тихо засветилось. Внизу стоят козаки и думают, как бы влезть им. Ни ворот, ни дверей не видно. Со двора, верно, есть ход; но как войти туда? Издали слышно, как гремят цепи и бегают собаки.

— Что я думаю долго! — сказал пан Данило, увидя перед окном высокий дуб. — Стой тут, малый! Я полезу на дуб; с него прямо можно глядеть в окошко.

Тут снял он с себя пояс, бросил вниз саблю, чтоб не звенела, и, ухватясь за ветви, поднялся вверх. Окошко все еще светилось. Присевши на сук,

возле самого окна уцепился он рукою за дерево и глядит: в комнате и свечи нет, а светит. По стенам чудные знаки. Висит оружие, но все странное: такого не носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский. Под потолком взад и вперед мелькают нетопыри, и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот отворилась без скрыпа дверь. Входит кто-то в красном жупане и прямо к столу, накрытому белою скатертью. «Это он, это тесть!» Пан Данило опустился немного ниже и прижался крепче к дереву.

Но ему некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко или нет. Он пришел пасмурен, не в духе, сдернул со стола скатерть — и вдруг по всей комнате тихо разлился прозрачно-голубой свет. Только не смешавшиеся волны прежнего бледно-золотого переливались, ныряли, словно в голубом море, и тянулись слоями, будто на мраморе. Тут поставил он на стол горшок и начал кидать в него какие-то травы.

Пан Данило стал вглядываться и не заметил уже на нем красного жупана; вместо того показались на нем широкие шаровары, какие носят турки; за поясом пистолеты; на голове какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскою и не

польскою грамотою. Глянул в лицо — и лицо стало переменяться: нос вытянулся и повиснул над губами; рот в минуту раздался до ушей; зуб выглянул изо рта, нагнулся на сторону — и стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадьбе у есаула. «Правдив сон твой, Катерина!» — подумал Бурульбаш.

Колдун стал прохаживаться вокруг стола, знаки стали быстрее переменяться на стене, а нетопыри залетали сильнее вниз и вверх, взад и вперед. Голубой свет становился реже, реже и совсем как будто потухнул. И светлица осветилась уже тонким розовым светом. Казалось, с тихим звоном разливался чудный свет по всем углам и вдруг пропал, и стала тьма. Слышался только шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже в воду серебряные ивы. И чудится пану Даниле, что в светлице блестит месяц, ходят звезды, неясно мелькает темно-синее небо, и холод ночного воздуха пахнул даже ему в лицо. И чудится пану Даниле (тут он стал щупать себя за усы, не спит ли), что уже не небо в светлице, а его собственная опочивальня: висят на стене его татарские и турецкие сабли; около стен полки, на полках домашняя посуда и утварь; на столе хлеб и соль;

висит люлька… но вместо образов выглядывают страшные лица; на лежанке… но сгустившийся туман покрыл все, и стало опять темно. И опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом, и опять стоит колдун неподвижно в чудной чалме своей. Звуки стали сильнее и гуще, тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты; и чудится пану Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина; только из чего она: из воздуха, что ли, выткана? Отчего же она стоит и земли не трогает, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвечивает розовый свет, и мелькают на стене знаки? Вот она как-то пошевелила прозрачною головою своею: тихо светятся ее бледно-голубые очи; волосы вьются и падают по плечам ее, будто светло-серый туман; губы бледно алеют, будто сквозь бело-прозрачное утреннее небо льется едва приметный алый свет зари; брови слабо темнеют… Ах! Это Катерина! Тут почувствовал Данило, что члены у него оковались; он силился говорить, но губы шевелились без звука.

Неподвижно стоял колдун на своем месте.

— Где ты была? — спросил он, и стоявшая перед ним затрепетала.

— О! Зачем ты меня вызвал? — тихо простона-

ла она. — Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и душист тот луг, где я играла в детстве: и полевые цветочки те же, и хата наша, и огород! О, как обняла меня добрая мать моя! Какая любовь у ней в очах! Она приголубливала меня, целовала в уста и щеки, расчесывала частым гребнем мою русую косу… Отец! — тут она вперила в колдуна бледные очи. — Зачем ты зарезал мать мою?

Грозно колдун погрозил пальцем.

— Разве я тебя просил говорить про это? — и воздушная красавица задрожала. — Где теперь пани твоя?

— Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела. Мне давно хотелось увидеть мать. Мне вдруг сделалось пятнадцать лет. Я вся стала легка, как птица. Зачем ты меня вызвал?

— Ты помнишь все то, что я говорил тебе вчера? — спросил колдун так тихо, что едва можно было расслушать.

— Помню, помню; но чего бы не дала я, чтобы только забыть это! Бедная Катерина! Она многого не знает из того, что знает душа ее.

«Это Катеринина душа», — подумал пан Дани-

ло, но все еще не смел пошевелиться.

— Покайся, отец! Не страшно ли, что после каждого убийства твоего мертвецы поднимаются из могил?

— Ты опять за старое! — грозно прервал колдун. — Я поставлю на своем, я заставлю тебя сделать, что мне хочется. Катерина полюбит меня!..

— О, ты чудовище, а не отец мой! — простонала она. — Нет, не будет по-твоему! Правда, ты взял нечистыми чарами твоими власть вызывать душу и мучить ее; но один только Бог может заставлять ее делать то, что ему угодно. Нет, никогда Катерина, доколе я буду держаться в ее теле, не решится на богопротивное дело. Отец, близок Страшный суд! Если б ты и не отец мой был, и тогда бы не заставил меня изменить моему любому, верному мужу. Если бы муж мой и не был мне верен и мил, и тогда бы не изменила ему, потому что Бог не любит клятвопреступных и неверных душ.

Тут вперила она бледные очи свои в окошко, под которым сидел пан Данило, и недвижно остановилась…

— Куда ты глядишь? Кого ты там видишь? — закричал колдун.

Воздушная Катерина задрожала. Но уже пан Данило был давно на земле и пробирался с своим верным Стецьком в свои горы. «Страшно, страшно!» — говорил он про себя, почувствовав какую-то робость в козацком сердце, и скоро прошел двор свой, на котором так же крепко спали козаки, кроме одного, сидевшего на сторожже и курившего люльку. Небо все было засеяно звездами.

V

— Как хорошо ты сделал, что разбудил меня! — говорила Катерина, протирая очи шитым рукавом своей сорочки и разглядывая с ног до головы стоявшего перед нею мужа. — Какой страшный сон мне виделся! Как тяжело дышала грудь моя! Ух!.. Мне казалось, что я умираю…

— Какой же сон, уж не этот ли? — и стал Бурульбаш рассказывать жене своей все им виденное.

— Ты как это узнал, мой муж? — спросила, изумившись, Катерина. — Но нет, многое мне неизвестно из того, что ты рассказываешь. Нет, мне не снилось, чтобы отец убил мать мою; ни мертвецов, ничего не виделось мне. Нет, Данило, ты не так рассказываешь. Ах, как страшен отец мой!

— И не диво, что тебе многое не виделось. Ты не знаешь и десятой доли того, что знает душа. Знаешь ли, что отец твой антихрист? Еще в прошлом году, когда собирался я вместе с ляхами на крымцев (тогда еще я держал руку этого неверного народа), мне говорил игумен Братского монастыря — он, жена, святой человек, — что антихрист имеет власть вызывать душу каждого человека;

а душа гуляет по своей воле, когда заснет он, и летает вместе с архангелами около божией светлицы. Мне с первого раза не показалось лицо твоего отца. Если бы я знал, что у тебя такой отец, я бы не женился на тебе; я бы кинул тебя и не принял бы на душу греха, породнившись с антихристовым племенем.

— Данило! — сказала Катерина, закрыв лицо руками и рыдая. — Я ли виновна в чем перед тобою? Я ли изменила тебе, мой любый муж? Чем же навела на себя гнев твой? Не верно разве служила тебе? Сказала ли противное слово, когда ты ворочался навеселе с молодецкой пирушки? Тебе ли не родила чернобрового сына?..

— Не плачь, Катерина, я тебя теперь знаю и не брошу ни за что. Грехи все лежат на отце твоем.

— Нет, не называй его отцом моим! Он не отец мне. Бог свидетель, я отрекаюсь от него, отрекаюсь от отца! Он антихрист, богоотступник! Пропадай он, тони он — не подам руки спасти его. Сохни он от тайной травы — не подам воды напиться ему. Ты у меня отец мой!

VI

В глубоком подвале у пана Данила за тремя замками сидит колдун, закованный в железные цепи; а подале над Днепром горит бесовский его замок, и алые, как кровь, волны хлебещут и толпятся вокруг старинных стен. Не за колдовство и не за богопротивные дела сидит в глубоком подвале колдун: им судия Бог; сидит он за тайное предательство, за сговоры с врагами православной Русской земли — продать католикам украинский народ и выжечь христианские церкви. Угрюм колдун; дума черная, как ночь, у него в голове. Всего только один день остается жить ему, а завтра пора распрощаться с миром. Завтра ждет его казнь. Не совсем легкая казнь его ждет; это еще милость, когда сварят его живого в котле или сдерут с него грешную кожу. Угрюм колдун, поникнул головою. Может быть, он уже и кается перед смертным часом, только не такие грехи его, чтобы Бог простил ему. Вверху перед ним узкое окно, переплетенное железными палками. Гремя цепями, подвелся он к окну поглядеть, не пройдет ли его дочь. Она кротка, не памятозлобна, как голубка, не умилосердится ли над отцом… Но

никого нет. Внизу бежит дорога; по ней никто не пройдет. Пониже ее гуляет Днепр; ему ни до кого нет дела: он бушует, и унывно слышать колоднику однозвучный шум его.

Вот кто-то показался по дороге — это козак! И тяжело вздохнул узник. Опять все пусто. Вот кто-то вдали спускается… Развевается зеленый кунтуш… горит на голове золотой кораблик… Это она! Еще ближе приникнул он к окну. Вот уже подходит близко…

— Катерина! Дочь! Умилосердись, подай милостыню!..

Она нема, она не хочет слушать, она и глаз не наведет на тюрьму и уже прошла, уже и скрылась. Пусто во всем мире. Унывно шумит Днепр. Грусть залегает в сердце. Но ведает ли эту грусть колдун?

День клонится к вечеру. Уже солнце село. Уже и нет его. Уже и вечер: свежо; где-то мычит вол; откуда-то навеваются звуки — верно, где-нибудь народ идет с работы и веселится; по Днепру мелькает лодка… Кому нужда до колодника! Блеснул на небе серебряный серп. Вот кто-то идет с противной стороны по дороге. Трудно разглядеть в темноте. Это возвращается Катерина.

— Дочь, Христа ради! И свирепые волченята

не станут рвать свою мать, дочь, хотя взгляни на преступного отца своего! — она не слушает и идет. — Дочь, ради несчастной матери!.. — она остановилась. — Приди принять последнее мое слово!

— Зачем ты зовешь меня, богоотступник? Не называй меня дочерью! Между нами нет никакого родства. Чего ты хочешь от меня ради несчастной моей матери?

— Катерина! Мне близок конец: я знаю, меня твой муж хочет привязать к кобыльему хвосту и пустить по полю, а может, еще и страшнейшую выдумает казнь…

— Да разве есть на свете казнь, равная твоим грехам? Жди ее; никто не станет просить за тебя.

— Катерина! Меня не казнь страшит, но муки на том свете… Ты невинна, Катерина, душа твоя будет летать в рае около Бога; а душа богоотступного отца твоего будет гореть в огне вечном, и никогда не угаснет тот огонь: все сильнее и сильнее будет он разгораться: ни капли росы никто не уронит, ни ветер не пахнет…

— Этой казни я не властна умалить, — сказала Катерина, отвернувшись.

— Катерина! Постой на одно слово: ты можешь спасти мою душу. Ты не знаешь еще, как добр

и милосерд Бог. Слышала ли ты про апостола Павла, какой был он грешный человек, но после покаялся и стал святым?

— Что я могу сделать, чтобы спасти твою душу? — сказала Катерина. — Мне ли, слабой женщине, об этом подумать!

— Если бы мне удалось отсюда выйти, я бы все кинул. Покаюсь: пойду в пещеры, надену на тело жесткую власяницу, день и ночь буду молиться Богу. Не только скоромного, не возьму рыбы в рот! Не постелю одежды, когда стану спать! И все буду молиться, все молиться! И когда не снимет с меня милосердие божие хотя сотой доли грехов, закопаюсь по шею в землю или замуруюсь в каменную стену; не возьму ни пищи, ни пития и умру; а все добро свое отдам чернецам, чтобы сорок дней и сорок ночей правили по мне панихиду.

Задумалась Катерина.

— Хотя я отопру, но мне не расковать твоих цепей.

— Я не боюсь цепей, — говорил он. — Ты говоришь, что они заковали мои руки и ноги? Нет, я напустил им в глаза туман и вместо руки протянул сухое дерево. Вот я, гляди, на мне нет теперь ни одной цепи! — сказал он, выходя на середи-

ну. — Я бы и стен этих не побоялся и прошел бы сквозь них, но муж твой и не знает, какие это стены. Их строил святой схимник, и никакая нечистая сила не может отсюда вывесть колодника, не отомкнув тем самым ключом, которым замыкал святой свою келью. Такую самую келью вырою и я себе, неслыханный грешник, когда выйду на волю.

— Слушай, я выпущу тебя; но если ты меня обманываешь, — сказала Катерина, остановившись пред дверью, — и, вместо того чтобы покаяться, станешь опять братом черту?

— Нет, Катерина, мне недолго остается жить уже. Близок и без казни мой конец. Неужели ты думаешь, что я предам сам себя на вечную муку?

Замки загремели.

— Прощай! Храни тебя Бог милосердый, дитя мое! — сказал колдун, поцеловав ее.

— Не прикасайся ко мне, неслыханный грешник, уходи скорее!.. — говорила Катерина. Но его уже не было.

— Я выпустила его, — сказала она, испугавшись и дико осматривая стены. — Что я стану теперь отвечать мужу? Я пропала. Мне живой теперь остается зарыться в могилу! — и, зарыдав, почти упала она на пень, на котором сидел колодник. —

Но я спасла душу, — сказала она тихо. — Я сделала богоугодное дело. Но мужмой... Я в первый раз обманула его. О, как страшно, как трудно будет мне перед ним говорить неправду. Кто-то идет! Это он! Муж! — вскрикнула она отчаянно и без чувств упала на землю.

VII

— Это я, моя родная дочь! Это я, мое серденько! — услышала Катерина, очнувшись, и увидела перед собою старую прислужницу. Баба, наклонившись, казалось, что-то шептала и, протянув над нею иссохшую руку свою, опрыскивала ее холодною водою.

— Где я? — говорила Катерина, подымаясь и оглядываясь. — Передо мною шумит Днепр, за мною горы… Куда завела ты меня, баба?

— Я тебя не завела, а вывела; вынесла на руках моих из душного подвала. Замкнула ключиком, чтобы тебе не досталось чего от пана Данила.

— Где же ключ? — сказала Катерина, поглядывая на свой пояс. — Я его не вижу.

— Бго отвязал муж твой, поглядеть на колдуна, дитя мое.

— Поглядеть?.. Баба, я пропала! — вскрикнула Катерина.

— Пусть Бог милует нас от этого, дитя мое! Молчи только, моя паняночка, никто ничего не узнает!

— Он убежал, проклятый антихрист! Ты слышала, Катерина? Он убежал! — сказал пан Данило,

приступая к жене своей. Очи метали огонь; сабля, звеня, тряслась при боку его.

Помертвела жена.

— Его выпустил кто-нибудь, мой любый муж? — проговорила она, дрожа.

— Выпустил, правда твоя; но выпустил черт. Погляди, вместо него бревно заковано в железо. Сделал же Бог так, что черт не боится козачьих лап! Если бы только думу об этом держал в голове хоть один из моих Козаков и я бы узнал… я бы и казни ему не нашел!

— А если бы я?.. — невольно вымолвила Катерина и, испугавшись, остановилась.

— Если бы ты вздумала, тогда бы ты не жена мне была. Я бы тебя зашил тогда в мешок и утопил бы на самой середине Днепра!..

Дух занялся у Катерины, и ей чудилось, что волоса стали отделяться на голове ее.

VIII

На пограничной дороге, в корчме, собрались ляхи и пируют уже два дни. Что-то немало всей сволочи. Сошлись, верно, на какой-нибудь наезд: у иных и мушкеты есть; чокают шпоры, брякают сабли. Паны веселятся и хвастают, говорят про небывалые дела свои, насмехаются над православьем, зовут народ украинский своими холопьями и важно крутят усы, и важно, задравши головы, разваливаются на лавках. С ними и ксендз вместе. Только и ксендз у них на их же стать и с виду даже не похож на христианского попа: пьет и гуляет с ними и говорит нечестивым языком своим срамные речи. Ни в чем не уступает им и челядь: позакидали назад рукава оборванных жупанов своих и ходят козырем, как будто бы что путное. Играют в карты, бьют картами один другого по носам. Набрали с собою чужих жен. Крик, драка!.. Паны беснуются и отпускают штуки: хватают за бороду жида, малюют ему на нечестивом лбу крест; стреляют в баб холостыми зарядами и танцуют краковяк с нечестивым попом своим. Не бывало такого соблазна на Русской земле и от татар. Видно, уже ей Бог определил за грехи тер-

петь такое посрамление! Слышно между общим содомом, что говорят про заднепровский хутор пана Данила, про красавицу жену его… Не на доброе дело собралась эта шайка!

IX

Сидит пан Данило за столом в своей светлице, подпершись локтем, и думает. Сидит на лежанке пани Катерина и поет песню.

— Чего-то грустно мне, жена моя! — сказал пан Данило. — И голова болит у меня, и сердце болит. Как-то тяжело мне! Видно, где-то недалеко уже ходит смерть моя.

«О мой ненаглядный муж! Приникни ко мне головою своею! Зачем ты приголубливаешь к себе такие черные думы?» — подумала Катерина, да не посмела сказать. Горько ей было, повинной голове, принимать мужние ласки.

— Слушай, жена моя! — сказал Данило. — Не оставляй сына, когда меня не будет. Не будет тебе от Бога счастия, если ты кинешь его, ни в том, ни в этом свете. Тяжело будет гнить моим костям в сырой земле; а еще тяжелее будет душе моей.

— Что говоришь ты, муж мой! Не ты ли издевался над нами, слабыми женами? А теперь сам говоришь, как слабая жена. Тебе еще долго нужно жить.

— Нет, Катерина, чует душа близкую смерть. Что-то грустно становится на свете. Времена

лихие приходят. Ох, помню, помню я годы; им, верно, не воротиться! Он был еще жив, честь и слава нашего войска, старый Конашевич! Как будто перед очами моими проходят теперь козацкие полки!

Это было золотое время, Катерина! Старый гетьман сидел на вороном коне. Блестела в руке булава; вокруг сердюки; по сторонам шевелилось красное море запорожцев. Стал говорить гетьман — и все стало как вкопанное. Заплакал старичина, как зачал вспоминать нам прежние дела и сечи. Эх, если б ты знала, Катерина, как резались мы тогда с турками! На голове моей виден и доныне рубец. Четыре пули пролетело в четырех местах сквозь меня. И ни одна из ран не зажила совсем. Сколько мы тогда набрали золота! Дорогие каменья шапками черпали козаки. Каких коней, Катерина, если б ты знала, каких коней мы тогда угнали! Ох, не воевать уже мне так! Кажется, и не стар, и телом бодр; а меч козацкий вываливается из рук, живу без дела и сам не знаю, для чего живу. Порядку нет в Украйне: полковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою. Нет старшей головы над всеми. Шляхетство наше все переменило на польский обычай, переняло лукавство… продало душу, принявши

унию. Жидовство угнетает бедный народ. О время, время! Минувшее время! Куда подевались вы, лета мои?.. Ступай, малый, в подвал, принеси мне куколь меду! Выпью за прежнюю долю и за давние годы!

— Чем будем принимать гостей, пан? С луговой стороны идут ляхи! — сказал, вошедши в хату, Стецько.

— Знаю, зачем идут они, — вымолвил Данило, подымаясь с места. — Седлайте, мои верные слуги, коней! Надевайте сбрую! Сабли наголо! Не забудьте набрать и свинцового толокна. С честью нужно встретить гостей!

Но еще не успели козаки сесть на коней и зарядить мушкеты, а уже ляхи, будто упавший осенью с дерева на землю лист, усеяли собою гору.

— Э, да тут есть с кем переведаться! — сказал Данило, поглядывая на толстых панов, важно качавшихся впереди на конях в золотой сбруе. — Видно, еще раз доведется нам погулять на славу! Натешься же, козацкая душа, в последний раз! Гуляйте, хлопцы, пришел наш праздник!

И пошла по горам потеха, и запировал пир: гуляют мечи, летают пули, ржут и топочут кони. От крику безумеет голова; от дыму слепнут очи. Все перемешалось. Но козак чует, где друг, где

недруг; прошумит ли пуля — валится лихой седок с коня; свистнет сабля — катится по земле голова, бормоча языком несвязные речи.

Но виден в толпе красный верх козацкой шапки пана Данила; мечется в глаза золотой пояс на синем жупане; вихрем вьется грива вороного коня. Как птица, мелькает он там и там; покрикивает и машет дамасской саблей и рубит с правого и левого плеча. Руби, козак! Гуляй, козак! Тешь молодецкое сердце; но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны! Топчи под ноги золото и каменья! Коли, козак! Гуляй, козак! Но оглянись назад: нечестивые ляхи зажигают уже хаты и угоняют напуганный скот. И, как вихорь, поворотил пан Данило назад, и шапка с красным верхом мелькает уже возле хат, и редеет вокруг его толпа.

Не час, не другой бьются ляхи и козаки. Не много становится тех и других. Но не устает пан Данило: сбивает с седла длинным копьем своим, топчет лихим конем пеших. Уже очищается двор, уже начали разбегаться ляхи; уже обдирают козаки с убитых золотые жупаны и богатую сбрую; уже пан Данило сбирается в погоню, и взглянул, чтобы созвать своих… и весь закипел от ярости: ему показался Катеринин отец. Вот он стоит на горе и целит на него мушкет. Данило погнал

коня прямо к нему… Козак, на гибель идешь… Мушкет гремит — и колдун пропал за горою. Только верный Стецько видел, как мелькнула красная одежда и чудная шапка. Зашатался козак и свалился на землю. Кинулся верный Стецько к своему пану — лежит пан его, протянувшись на земле и закрывши ясные очи. Алая кровь закипела на груди.

Но, видно, почуял верного слугу своего. Тихо приподнял веки, блеснул очами: «Прощай, Стецько! Скажи Катерине, чтобы не покидала сына! Не покидайте и вы его, мои верные слуги!» — и затих. Вылетела козацкая душа из дворянского тела; посинели уста. Спит козак непробудно.

Зарыдал верный слуга и машет рукою Катерине: «Ступай, пани, ступай: подгулял твой пан. Лежит он пьянехонек на сырой земле. Долго не протрезвиться ему!»

Всплеснула руками Катерина и повалилась, как сноп, на мертвое тело. «Муж мой, ты ли лежишь тут, закрывши очи? Встань, мой ненаглядный сокол, протяни ручку свою! Приподымись! Погляди хоть раз на твою Катерину, пошевели устами, вымолви хоть одно словечко… Но ты молчишь, ты молчишь, мой ясный пан! Ты посинел, как Черное море. Сердце твое не бьется! Отчего ты

такой холодный, мой пан? Видно, не горючи мои слезы, невмочь им согреть тебя! Видно, не громок плач мой, не разбудить им тебя! Кто же поведет теперь полки твои? Кто понесется на твоем вороном конике, громко загукает и замашет саблей пред козаками? Козаки, козаки! Где честь и слава ваша? Лежит честь и слава ваша, закрывши очи, на сырой земле. Похороните же меня, похороните вместе с ним! Засыпьте мне очи землею! Надавите мне кленовые доски на белые груди! Мне не нужна больше красота моя!»

Плачет и убивается Катерина; а даль вся покрывается пылью: скачет старый есаул Горобець на помощь.

X

Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод, и прибережным лесам ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые! Они толпятся вместе с полевыми цветами к водам и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются светлым своим зраком, и усмехаются к нему, и приветствуют его, кивая ветвями. В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! Ему нет равной реки в мире. Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает — и человек, и зверь, и птица; а Бог один величаво озирает небо и землю и величаво сотрясает ризу. От ризы сыплются звезды. Звезды горят и светят

над миром и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном лоне своем. Ни одна не убежит от него; разве погаснет на небе. Черный лес, унизанный спящими воронами, и древле разломанные горы, свесясь, силятся закрыть его хотя длинною тенью своею — напрасно! Нет ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр. Синий, синий, ходит он плавным разливом и середь ночи, как середь дня; виден за столько вдаль, за сколько видеть может человечье око. Нежась и прижимаясь ближе к берегам от ночного холода, дает он по себе серебряную струю; и она вспыхивает, будто полоса дамасской сабли; а он, синий, снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и нет реки, равной ему в мире! Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до корня, дубы трещат и молния, изламываясь между туч, разом осветит целый мир — страшен тогда Днепр! Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад, и плачут, и заливаются вдали. Так убивается старая мать козака, выпровожая своего сына в войско. Разгульный и бодрый, едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки заломив шапку; а она, рыдая, бежит за ним, хватает его за стремя, ловит удила, и ломает над ним руки, и заливается

горючими слезами.

Дико чернеют промеж ратующими волнами обгорелые пни и камни на выдавшемся берегу. И бьется об берег, подымаясь вверх и опускаясь вниз, пристающая лодка. Кто из Козаков осмелился гулять в челне в то время, когда рассердился старый Днепр? Видно, ему неведомо, что он глотает, как мух, людей.

Лодка причалила, и вышел из нее колдун. Невесел он; ему горька тризна, которую свершили козаки над убитым своим паном. Не мало поплатились ляхи: сорок четыре пана со всею сбруею и жупанами да тридцать три холопа изрублены в куски; а остальных вместе с конями угнали в плен продать татарам.

По каменным ступеням спустился он между обгорелыми пнями вниз, где глубоко в земле вырыта была у него землянка. Тихо вошел он, не скрыпнувши дверью, поставил на стол, закрытый скатертью, горшок и стал бросать длинными руками своими какие-то неведомые травы; взял куколь, выделанный из какого-то чудного дерева, почерпнул им воды и стал лить, шевеля губами и творя какие-то заклинания. Показался розовый свет в светлице; и страшно было глянуть тогда ему в лицо: оно казалось кровавым, глубокие

морщины только чернели на нем, а глаза были как в огне. Нечестивый грешник! Уже и борода давно поседела, и лицо изрыто морщинами, и высох весь, а все еще творит богопротивный умысел. Посреди хаты стало веять белое облако, и что-то похожее на радость сверкнуло в лице его. Но отчего же вдруг стал он недвижим, с разинутым ртом, не смея пошевелиться, и отчего волосы щетиною поднялись на его голове? В облаке перед ним светилось чье-то чудное лицо. Непрошеное, незваное, явилось оно к нему в гости; чем далее, выяснивалось больше и вперило неподвижные очи. Черты его, брови, глаза, губы — все незнакомое ему. Никогда во всю жизнь свою он его не видывал. И страшного, кажется, в нем мало, а непреодолимый ужас напал на него. А незнакомая дивная голова сквозь облако так же неподвижно глядела на него. Облако уже и пропало; а неведомые черты еще резче выказывались, и острые очи не отрывались от него. Колдун весь побелел как полотно. Диким, не своим голосом вскрикнул, опрокинул горшок… Все пропало.

XI

— Спокой себя, моя любая сестра! — говорил старый есаул Горобець. — Сны редко говорят правду.

— Приляг, сестрица! — говорила молодая его невестка. — Я позову старуху, ворожею; против ее никакая сила не устоит. Она выльет переполох тебе.

— Ничего не бойся! — говорил сын его, хватаясь за саблю. — Никто тебя не обидит.

Пасмурно, мутными глазами глядела на всех Катерина и не находила речи. «Я сама устроила себе погибель. Я выпустила его». Наконец она сказала:

— Мне нет от него покоя! Вот уже десять дней я у вас в Киеве, а горя ни капли не убавилось. Думала, буду хоть в тишине растить на месть сына… Страшен, страшен привиделся он мне во сне! Боже сохрани и вам увидеть его! Сердце мое до сих пор бьется. «Я зарублю твое дитя, Катерина, — кричал он, — если не выйдешь за меня замуж!..» — и, зарыдав, кинулась она к колыбели, а испуганное дитя протянуло ручонки и кричало.

Кипел и сверкал сын есаула от гнева, слыша

такие речи.

Расходился и сам есаул Горобець:

— Пусть попробует он, окаянный антихрист, прийти сюда; отведает, бывает ли сила в руках старого козака. Бог видит, — говорил он, подымая кверху прозорливые очи, — не летел ли я подать руку брату Данилу? Его святая воля! Застал уже на холодной постеле, на которой много, много улеглось козацкого народа. Зато разве не пышна была тризна по нем? Выпустили ли хоть одного ляха живого? Успокойся же, мое дитя! Никто не посмеет тебя обидеть, разве ни меня не будет, ни моего сына.

Кончив слова свои, старый есаул пришел к колыбели, и дитя, увидевши висевшую на ремне у него в серебряной оправе красную люльку и гаман с блестящим огнивом, протянуло к нему ручонки и засмеялось.

— По отцу пойдет, — сказал старый есаул, снимая с себя люльку и отдавая ему, — еще от колыбели не отстал, а уже думает курить люльку.

Тихо вздохнула Катерина и стала качать колыбель. Сговорились провесть ночь вместе, и мало погодя уснули все. Уснула и Катерина.

На дворе и в хате все было тихо; не спали только козаки, стоявшие на стороже. Вдруг Катерина,

вскрикнув, проснулась, и за нею проснулись все. «Он убит, он зарезан!» — кричала она и кинулась к колыбели.

Все обступили колыбель и окаменели от страха, увидевши, что в ней лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвил ни один из них, не зная, что думать о неслыханном злодействе.

XII

Далеко от Украинского края, проехавши Польшу, минуя и многолюдный город Лемберг, идут рядами высоковерхие горы. Гора за горою, будто каменными цепями, перекидывают они вправо и влево землю и обковывают ее каменною толщей, чтобы не прососало шумное и буйное море. Идут каменные цепи в Валахию и в Седмиградскую область и громадою стали в виде подковы между галичским и венгерским народом. Нет таких гор в нашей стороне. Глаз не смеет оглянуть их; а на вершину иных не заходила и нога человечья. Чуден и вид их: не задорное ли море выбежало в бурю из широких берегов, вскинуло вихрем безобразные волны, и они, окаменев, остались недвижимы в воздухе? Не оборвались ли с неба тяжелые тучи и загромоздили собою землю? Ибо и на них такой же серый цвет, а белая верхушка блестит и искрится при солнце. Еще до Карпатских гор услышишь русскую молвь, и за горами еще кой-где отзовется как будто родное слово; а там уже и вера не та, и речь не та. Живет немалолюдный народ венгерский; ездит на конях, рубится и пьет не хуже козака; а за конную

сбрую и дорогие кафтаны не скупится вынимать из кармана червонцы. Раздольны и велики есть между горами озера. Как стекло, недвижимы они и, как зеркало, отдают в себе голые вершины гор и зеленые их подошвы.

Но кто середи ночи, блещут или не блещут звезды, едет на огромном вороном коне? Какой богатырь с нечеловечьим ростом скачет под горами, над озерами, отсвечивается с исполинским конем в недвижных водах, и бесконечная тень его страшно мелькает по горам? Блещут чеканенные латы; на плече пика; гремит при седле сабля; шелом надвинут; усы чернеют; очи закрыты; ресницы опущены — он спит. И, сонный, держит повода; и за ним сидит на том же коне младенец-паж и также спит и, сонный, держится за богатыря. Кто он, куда, зачем едет? Кто его знает! Не день, не два уже он переезжает горы. Блеснет день, взойдет солнце, его не видно; изредка только замечали горцы, что по горам мелькает чья-то длинная тень, а небо ясно, и тучи не пройдет по нем. Чуть же ночь наведет темноту, снова он виден и отдается в озерах, и за ним, дрожа, скачет тень его. Уже проехал много он гор и взъехал на Криван. Горы этой нет выше между Карпатом; как царь подымается она над другими.

Тут остановился конь и всадник, и еще глубже погрузился в сон, и тучи, спустясь, закрыли его.

XIII

«Тс... тигле, баба! не стучи так, дитя мое заснуло. Долго кричал сын мой, теперь спит. Я пойду в лес, баба! Да что же ты так глядишь на меня? Ты страшна: у тебя из глаз вытягиваются железные клещи... Ух, какие длинные! И горят как огонь! Ты, верно, ведьма! О, если ты ведьма, то пропади отсюда! Ты украдешь моего сына. Какой бестолковый этот есаул: он думает, мне весело жить в Киеве; нет, здесь и муж мой, и сын, кто же будет смотреть за хатой? Я ушла так тихо, что ни кошка, ни собака не услышала. Ты хочешь, баба, сделаться молодою — это совсем нетрудно: нужно танцевать только; гляди, как я танцую...» И, проговорив такие несвязные речи, уже неслась Катерина, безумно поглядывая на все стороны и упираясь руками в боки. С визгом притопывала она ногами; без меры, без такта звенели серебряные подковы. Незаплетенные черные косы метались по белой шее. Как птица, не останавливаясь, летела она, размахивая руками и кивая головою, и казалось, будто, обессилев, или грянется наземь, или вылетит из мира.

Печально стояла старая няня, и слезами на-

лились ее глубокие морщины; тяжкий камень лежал на сердце у верных хлопцев, глядевших на свою пани. Уже совсем ослабела она и лениво топала ногами на одном месте, думая, что танцует горлицу. «А у меня монисто есть, парубки! — сказала она, наконец остановившись. — А у вас нет!.. Где муж мой? — вскричала она вдруг, выхватив из-за пояса турецкий кинжал. — О! Это не такой нож, какой нужно, — при этом и слезы и тоска показались у ней на лице. — У отца моего далеко сердце; он не достанет до него. У него сердце из железа выковано. Ему выковала одна ведьма на пекельном огне. Что ж нейдет отец мой? Разве он не знает, что пора заколоть его? Видно, он хочет, чтоб я сама пришла… — и, не докончив, чудно засмеялася. — Мне пришла на ум забавная история: я вспомнила, как погребали моего мужа. Ведь его живого погребли… Какой смех забирал меня!.. Слушайте, слушайте!» И вместо слов начала она петь песню:

Біжить возок кривавенький;
У тім возку козак лежить,
Постріляний, порубаний.
В правій ручці дротик держить,
З того дроту крівця бежить;

Біжить река кривавая.
Над річкою явор стоіть,
Над явором ворон кряче.
За козаком мати плаче.
Не плачь, мати, не журися!
Бо вже твій сын оженився,
Та взяв женку паняночку,
В чистом полі земляночку,
і без дверець, без оконець.
Та вже пісні вийшов конець.
Танцівала рыба з раком…
А хто мене не полюбить, трясця его матерь!

Так перемешивались у ней все песни. Уже день и два живет она в своей хате и не хочет слышать о Киеве, и не молится, и бежит от людей, и с утра до позднего вечера бродит по темным дубравам. Острые сучья царапают белое лицо и плеча; ветер треплет расплетенные косы; давние листья шумят под ногами ее — ни на что не глядит она. В час, когда вечерняя заря тухнет, еще не являются звезды, не горит месяц, а уже страшно ходить в лесу: по деревьям царапаются и хватаются за сучья некрещеные дети, рыдают, хохочут, катят-

ся клубом по дорогам и в широкой крапиве; из днепровских волн выбегают вереницами погубившие свои души девы; волосы льются с зеленой головы на плечи, вода, звучно журча, бежит с длинных волос на землю, и дева светится сквозь воду, как будто бы сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмехаются, щеки пылают, очи выманивают душу… она сгорела бы от любви, она зацеловала бы… Беги, крещеный человек! Уста ее — лед, постель — холодная вода; она защекочет тебя и утащит в реку. Катерина не глядит ни на кого, не боится, безумная, русалок, бегает поздно с ножом своим и ищет отца.

С ранним утром приехал какой-то гость, статный собою, в красном жупане, и осведомляется о пане Даниле; слышит все, утирает рукавом заплаканные очи и пожимает плечами. Он-де воевал вместе с покойным Бурульбашем; вместе рубились они с крымцами и турками; ждал ли он, чтобы такой конец был пана Данила? Рассказывает еще гость о многом другом и хочет видеть пани Катерину.

Катерина сначала не слушала ничего, что говорил гость; напоследок стала, как разумная, вслушиваться в его речи. Он повел про то, как они жили вместе с Данилом, будто брат с братом;

как укрылись раз под греблею от крымцев… Катерина все слушала и не спускала с него очей.

«Она отойдет! — думали хлопцы, глядя на нее. — Этот гость вылечит ее! Она уже слушает, как разумная!»

Гость начал рассказывать между тем, как пан Данило, в час откровенной беседы, сказал ему: «Гляди, брат Копрян: когда волею божией не будет меня на свете, возьми к себе жену, и пусть будет она твоею женою…»

Страшно вонзила в него очи Катерина. «А! — вскрикнула она. — Это он! Это отец!» — и кинулась на него с ножом.

Долго боролся тот, стараясь вырвать у нее нож. Наконец вырвал, замахнулся — и совершилось страшное дело: отец убил безумную дочь свою.

Изумившиеся козаки кинулись было на него; но колдун уже успел вскочить на коня и пропал из виду.

XIV

За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетьманы собирались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галичская.

— А то что такое? — допрашивал собравшийся народ старых людей, указывая на далеко мерещившиеся на небе и больше похожие на облака серые и белые верхи.

— То Карпатские горы! — говорили старые люди. — Меж ними есть такие, с которых век не сходит снег, а тучи пристают и ночуют там.

Тут показалось новое диво: облака слетели с самой высокой горы, и на вершине ее показался во всей рыцарской сбруе человек на коне, с закрытыми очами, и так виден, как бы стоял вблизи.

Тут, меж дивившимся со страхом народом, один вскочил на коня и, дико озираясь по сторонам, как будто ища очами, не гонится ли кто за ним, торопливо, во всю мочь, погнал коня своего. То был колдун. Чего же так перепугался он? Со страхом вглядевшись в чудного рыцаря, узнал

он на нем то же самое лицо, которое, незваное, показалось ему, когда он ворожил. Сам не мог он разуметь, отчего в нем все смутилось при таком виде, и, робко озираясь, мчался он на коне, покамест не застигнул его вечер и не проглянули звезды. Тут поворотил он домой, может быть, допросить нечистую силу, что значит такое диво. Уже он хотел перескочить с конем через узкую реку, выступившую рукавом середи дороги, как вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду и — чудо, засмеялся! Белые зубы страшно блеснули двумя рядами во мраке. Дыбом поднялись волоса на голове колдуна. Дико закричал он и заплакал, как исступленный, и погнал коня прямо к Киеву. Ему чудилось, что все со всех сторон бежало ловить его: деревья, обступивши темным лесом и как будто живые, кивая черными бородами и вытягивая длинные ветви, силились задушить его; звезды, казалось, бежали впереди перед ним, указывая всем на грешника; сама дорога, чудилось, мчалась по следам его. Отчаянный колдун летел в Киев к святым местам.

XV

Одиноко сидел в своей пещере перед лампадою схимник и не сводил очей с святой книги. Уже много лет, как он затворился в своей пещере. Уже сделал себе и дощатый гроб, в который ложился спать вместо постели. Закрыл святой старец свою книгу и стал молиться… Вдруг вбежал человек чудного, страшного вида. Изумился святой схимник в первый раз и отступил, увидев такого человека. Весь дрожал он, как осиновый лист; очи дико косились; страшный огонь пугливо сыпался из очей; дрожь наводило на душу уродливое его лицо.

— Отец, молись! молись! — закричал он отчаянно. — Молись о погибшей душе! — и грянулся на землю.

Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул — и в ужасе отступил назад и выронил книгу.

— Нет, неслыханный грешник! Нет тебе помилования! Беги отсюда! Не могу молиться о тебе.

— Нет? — закричал, как безумный, грешник.

— Гляди: святые буквы в книге налились кровью. Еще никогда в мире не бывало такого

грешника!

— Отец, ты смеешься надо мною!

— Иди, окаянный грешник! Не смеюсь я над тобою. Боязнь овладевает мною. Не добро быть человеку с тобою вместе!

— Нет, нет! Ты смеешься, не говори… я вижу, как раздвинулся рот твой: вот белеют рядами твои старые зубы!..

И как бешеный кинулся он — и убил святого схимника.

Что-то тяжко застонало, и стон перенесся через поле и лес. Из-за леса поднялись тощие, сухие руки с длинными когтями; затряслись и пропали.

И уже ни страха, ничего не чувствовал он. Все чудится ему как-то смутно. В ушах глумит, в голове глумит, как будто от хмеля; и все, что ни есть перед глазами, покрывается как бы паутиною. Вскочивши на коня, поехал он прямо в Канев, думая оттуда через Черкасы направить путь к татарам прямо в Крым, сам не зная для чего. Едет он уже день, другой, а Канева все нет. Дорога та самая; пора бы ему уже давно показаться, но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей. Но это не Канев, а Шумск. Изумился колдун, видя, что он заехал совсем в другую сторону. Погнал коня назад к Киеву, и через день показался город;

но не Киев, а Галич, город еще далее от Киева, чем Шумск, и уже недалеко от венгров. Не зная, что делать, поворотил он коня снова назад, но чувствует снова, что едет в противную сторону и все вперед. Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе у колдуна; а если бы он заглянул и увидел, что там деялось, то уже недосыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу. То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем и затопить ее в Черном море. Но не от злобы хотелось ему это сделать; нет, сам он не знал отчего. Весь вздрогнул он, когда уже показались близко перед ним Карпатские горы и высокий Криван, накрывший свое темя, будто шапкою, серою тучею; а конь все несся и уже рыскал по горам. Тучи разом очистились, и перед ним показался в страшном величии всадник… Он силится остановиться, крепко натягивает удила; дико ржал конь, подымая гриву, и мчался к рыцарю. Тут чудится колдуну, что все в нем замерло, что недвижный всадник шевелится и разом открыл свои очи; увидел несшегося к нему колдуна и засмеялся. Как гром, рассыпался

дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотами по сердцу, по жилам… так страшно отдался в нем этот смех!

Ухватил всадник страшною рукою колдуна и поднял его на воздух. Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец и глядел как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший. Ворочал он по сторонам мертвыми глазами и увидел поднявшихся мертвецов от Киева, и от земли Галичской, и от Карпата, как две капли воды схожих лицом на него.

Бледны, бледны, один другого выше, один другого костистей, стали они вокруг всадника, державшего в руке страшную добычу. Еще раз засмеялся рыцарь и кинул ее в пропасть. И все мертвецы вскочили в пропасть, подхватили мертвеца и вонзили в него свои зубы. Еще один, всех выше, всех страшнее, хотел подняться из земли; но не мог, не в силах был этого сделать, так велик вырос он в земле; а если бы поднялся, то опрокинул бы и Карпат, и Седмиградскую и Турецкую землю; немного только подвинулся он, и пошло от того трясение по всей земле. И много поопрокидывалось везде хат. И много задавило

народу.

Слышится часто по Карпату свист, как будто тысяча мельниц шумит колесами на воде. То в безвыходной пропасти, которой не видал еще ни один человек, страшащийся проходить мимо, мертвецы грызут мертвеца. Нередко бывало по всему миру, что земля тряслась от одного конца до другого: то оттого делается, толкуют грамотные люди, что есть где-то близ моря гора, из которой выхватывается пламя и текут горящие реки. Но старики, которые живут и в Венгрии и в Галичской земле, лучше знают это и говорят, что то хочет подняться выросший в земле великий, великий мертвец и трясет землю.

XVI

В городе Глухове собрался народ около старца бандуриста и уже с час слушал, как слепец играл на бандуре. Еще таких чудных песен и так хорошо не пел ни один бандурист. Сперва повел он про прежнюю гетьманщину, за Сагайдачного и Хмельницкого. Тогда иное было время: козачество было в славе; топтало конями неприятелей, и никто не смел посмеяться над ним. Пел и веселые песни старец и повоживал своими очами на народ, как будто зрящий; а пальцы, с приделанными к ним костями, летали, как муха, по струнам, и казалось, струны сами играли; а кругом народ, старые люди, понурив головы, а молодые, подняв очи на старца, не смели и шептать между собою.

— Постойте, — сказал старец, — я вам запою про одно давнее дело.

Народ сдвинулся еще теснее, и слепец запел:

«За пана Степана, князя Седмиградского; был князь Седмиградский королем и у ляхов, жило два козака: Иван да Петро. Жили они так, как брат с братом. „Гляди, Иван, все, что ни добудешь, — все пополам: когда кому веселье — веселье и

другому; когда кому горе — горе и обоим; когда кому добыча — пополам добычу; когда кто в полон попадет — другой продай все и дай выкуп, а не то сам ступай в полон“. И правда, все, что ни доставали козаки, все делили пополам; угоняли ли чужой скот или коней, все делили пополам.

* * *

Воевал король Степан с турчином. Уже три недели воюет он с турчином, а все не может его выгнать. А у турчина был паша такой, что сам с десятью янычарами мог порубить целый полк. Вот объявил король Степан, что если сыщется смельчак и приведет к нему того пашу живого или мертвого, даст ему одному столько жалованья, сколько дает на все войско. „Пойдем, брат, ловить пашу!“ — сказал брат Иван Петру. И поехали козаки — один в одну сторону, другой в другую.

* * *

Поймал ли бы еще или не поймал Петро, а уже Иван ведет пашу арканом за шею к самому королю. „Бравый молодец!“ — сказал король Степан и приказал выдать ему одному такое жалованье,

какое получает все войско; и приказал отвесть ему земли там, где он задумает себе, и дать скота, сколько пожелает. Как получил Иван жалованье от короля, в тот же день разделил все поровну между собою и Петром. Взял Петро половину королевского жалованья, но не мог вынесть того, что Иван получил такую честь от короля, и затаил глубоко на душе месть.

* * *

Ехали оба рыцаря на жалованную королем землю, за Карпат. Посадил козак Иван с собою на коня своего сына, привязав его к себе. Уже настали сумерки — они все едут. Младенец заснул, стал дремать и сам Иван. Не дремли, козак, по горам дороги опасные!.. Но у козака такой конь, что сам везде знает дорогу, не спотыкнется и не оступится. Есть между горами провал, в провале дна никто не видал; сколько от земли до неба, столько до дна того провала. По-над самым провалом дорога — два человека еще могут проехать, а трое ни за что. Стал бережно ступать конь с дремавшим козаком. Рядом ехал Петро, весь дрожал и притаил дух от радости. Оглянулся и толкнул названого брата в провал. И конь с козаком и младенцем полетел в провал.

* * *

Ухватился, однако ж, козак за сук, и один только конь полетел на дно. Стал он карабкаться, с сыном за плечами, вверх; немного уже не добрался, поднял глаза и увидел, что Петро наставил пику, чтобы столкнуть его назад. „Боже ты мой праведный, лучше б мне не подымать глаз, чем видеть, как родной брат наставляет пику столкнуть меня назад… Брат мой милый! Коли меня пикой, когда уже мне так написано на роду, но возьми сына! Чем безвинный младенец виноват, чтобы ему пропасть такою лютою смертью?“ Засмеялся Петро и толкнул его пикой, и козак с младенцем полетел на дно. Забрал себе Петро все добро и стал жить, как паша. Табунов ни у кого таких не было, как у Петра. Овец и баранов нигде столько не было. И умер Петро.

* * *

Как умер Петро, призвал Бог души обоих братьев, Петра и Ивана, на суд. „Великий есть грешник сей человек! — сказал Бог. — Иване! Не выберу я ему скоро казни; выбери ты сам ему казнь!“ Долго думал Иван, вымышляя казнь, и

наконец сказал: „Великую обиду нанес мне сей человек: предал своего брата, как Иуда, и лишил меня честного моего рода и потомства на земле. А человек без честного рода и потомства, что хлебное семя, кинутое в землю и пропавшее даром в земле. Всходу нет — никто не узнает, что кинуто было семя.

* * *

Сделай же, Боже, так, чтобы все потомство его не имело на земле счастья! Чтобы последний в роде был такой злодей, какого еще и не бывало на свете! И от каждого его злодейства чтобы деды и прадеды его не нашли бы покоя в гробах и, терпя муку, неведомую на свете, подымались бы из могил! А иуда Петро чтобы не в силах был подняться и оттого терпел бы муку еще горшую; и ел бы, как бешеный, землю, и корчился бы под землею!

* * *

И когда придет час меры в злодействах тому человеку, подыми меня, Боже, из того провала на коне на самую высокую гору, и пусть придет он ко мне, и брошу я его с той горы в самый глубокий провал, и все мертвецы, его деды и прадеды, где

бы ни жили при жизни, чтобы все потянулись от разных сторон земли грызть его за те муки, что он наносил им, и вечно бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки! А иуда Петро чтобы не мог подняться из земли, чтобы рвался грызть и себе, но грыз бы самого себя, а кости его росли бы, чем дальше, больше, чтобы чрез то еще сильнее становилась его боль. Та мука для него будет самая страшная: ибо для человека нет большей муки, как хотеть отмстить и не мочь отмстить“.

„Страшна казнь, тобою выдуманная, человече! — сказал Бог. — Пусть будет все так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своем, и не будет тебе царствия небесного, покамест ты будешь сидеть там на коне своем!“ И то все так сбылось, как было сказано: и доныне стоит на Карпате на коне дивный рыцарь, и видит, как в бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и чует, как лежащий под землею мертвец растет, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясет всю землю…»

Уже слепец кончил свою песню; уже снова стал перебирать струны; уже стал петь смешные присказки про Хому и Ерему, про Стклияра Стокозу… но старые и малые все еще не думали очнуться и долго стояли, потупив головы, раздумывая о

страшном, в старину случившемся деле.

1832



Н. В. Гоголь
Вий[1]



Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот Братского монастыря, то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки.

---

[1] Примечания: 1

Вий — есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем называется у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал. (*Прим. Н. В. Гоголя.*)

Грамматики, риторы, философы и богословы[2], с тетрадями под мышкой, брели в класс. Грамматики были еще очень малы; идя, толкали друг друга и бранились между собою самым тоненьким дискантом; они были все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякою дрянью, как то: бабками, свистелками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьенками, из которых один, вдруг чиликнув среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали[3] в обе руки, а иногда и вишневые розги. Риторы шли солиднее: платья у них были часто совершенно целы, но зато на лице всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде риторического тропа: или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета; эти говорили и божились между собою тенором. Философы целою октавою брали ниже: в карманах их, кроме крепких табачных

[2] Примечания: 2

Грамматики и риторы — ученики младших классов в духовных семинариях; *философы и богословы* — ученики старших классов. — Здесь и далее прим. ред. — по изданию «Сочинения Николая Гоголя. Том второй: „Миргород“», СПб., 1842.

[3] Примечания: 3

Пали — семинарское выражение: удар линейкой по рукам.

корешков, ничего не было. Запасов они не делали никаких и все, что попадалось, съедали тогда же; от них слышалась трубка и горелка иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник долго еще, остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух.

Рынок в это время обыкновенно только что начинал шевелиться, и торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и маковниками дергали наподхват за полы тех, у которых полы были из тонкого сукна или какой-нибудь бумажной материи.

— Паничи! Паничи! Сюды! Сюды! — говорили они со всех сторон. — Ось бублики, маковники, вертычки, буханци хороши! Ей-богу, хороши! На меду! Сама пекла!

Другая, подняв что-то длинное, скрученное из теста, кричала:

— Ось сусулька! Паничи, купите сусульку!

— Не покупайте у этой ничего: смотрите, какая она скверная — и нос нехороший, и руки нечистые…

Но философов и богословов они боялись задевать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу и притом целою горстью.

По приходе в семинарию вся толпа размещалась по классам, находившимся в низеньких, довольно, однако же, просторных комнатах с небольшими окнами, с широкими дверьми и запачканными скамьями. Класс наполнялся вдруг разноголосными жужжаниями: авдиторы[4] выслушивали своих учеников; звонкий дискант грамматика попадал как раз в звон стекла, вставленного в маленькие окна, и стекло отвечало почти тем же звуком; в углу гудел ритор, которого рот и толстые губы должны бы принадлежать по крайней мере философии. Он гудел басом, и только слышно было издали: бу, бу, бу, бу… Авдиторы, слушая урок, смотрели одним глазом под скамью, где из кармана подчиненного бурсака выглядывала булка, или вареник, или семена из тыкв.

Когда вся эта ученая толпа успевала приходить несколько ранее или когда знали, что профессора будут позже обыкновенного, тогда, со всеобщего согласия, замышляли бой, и в этом бою должны были участвовать все, даже и цензора, обязанные смотреть за порядком и нравственностию всего учащегося сословия. Два богослова обыкновенно решали, как происходить битве: каждый ли

[4] Примечания: 4

Авдиторы — ученики старших классов, которым доверялась проверка знаний учеников младших классов.

класс должен стоять за себя особенно или все должны разделиться на две половины: на бурсу[5] и семинарию. Во всяком случае, грамматики начинали прежде всех, и как только вмешивались риторы, они уже бежали прочь и становились на возвышениях наблюдать битву. Потом вступала философия с черными длинными усами, а наконец и богословия в ужасных шароварах и с претолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тем, что богословия побивала всех, и философия, почесывая бока, была теснима в класс и помещалась отдыхать на скамьях. Профессор, входивший в класс и участвовавший когда-то сам в подобных боях, в одну минуту по разгоревшимся лицам своих слушателей узнавал, что бой был недурен, и в то время, когда он сек розгами по пальцам риторику, в другом классе другой профессор отделывал деревянными лопатками по рукам философию. С богословами же было поступаемо совершенно другим образом: им, по выражению профессора богословия, отсыпалось *по мерке крупного гороху*, что состояло в коротеньких кожаных канчуках[6].

---

[5] Примечания: 5
Бурса — духовное училище.

[6] Примечания: 6
Канчук — плеть.

В торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домам с вертепами[7]. Иногда разыгрывали комедию, и в таком случае всегда отличался какой-нибудь богослов, ростом мало чем пониже киевской колокольни, представлявший Иродиаду или Пентефрию, супругу египетского царедворца. В награду получали они кусок полотна, или мешок проса, или половину вареного гуся и тому подобное.

Весь этот ученый народ, как семинария, так и бурса, которые питали какую-то наследственную неприязнь между собою, был чрезвычайно беден на средства к прокормлению и притом необыкновенно прожорлив; так что сосчитать, сколько каждый из них уписывал за вечерею галушек[8], было бы совершенно невозможное дело; и потому доброхотные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны. Тогда сенат, состоявший из философов и богословов, отправлял грамматиков и риторов под предводительством одного философа — а иногда

---

[7] Примечания: 7

Вертеп — старинный кукольный театр: ящик с марионетками для представления драмы на евангельский сюжет о рождении Христа; такое представление.

[8] Примечания: 8

Галушки (*укр.*) — кусочки теста, сваренные в супе или молоке.

присоединялся и сам — с мешками на плечах опустошать чужие огороды. И в бурсе появлялась каша из тыкв. Сенаторы столько объедались арбузов и дынь, что на другой день авдиторы слышали от них вместо одного два урока: один происходил из уст, другой ворчал в сенаторском желудке. Бурса и семинария носили какие-то длинные подобия сюртуков, простиравшихся *по сие время:* слово техническое, означавшее — далее пяток.

Самое торжественное для семинарии событие было вакансии[9] — время с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам. Тогда всю большую дорогу усеивали грамматики, философы и богословы. Кто не имел своего приюта, тот отправлялся к кому-нибудь из товарищей. Философы и богословы отправлялись на кондиции, то есть брались учить или приготовлять детей людей зажиточных, и получали за то в год новые сапоги, а иногда и на сюртук. Вся ватага эта тянулась вместе целым табором; варила себе кашу и ночевала в поле. Каждый тащил за собою мешок, в котором находилась одна рубашка и пара онуч. Богословы особенно были бережливы и акку-

[9] Примечания: 9
Вакансии — каникулы; вакации.

ратны: для того чтобы не износить сапогов, они скидали их, вешали на палки и несли на плечах, особенно когда была грязь. Тогда они, засучив шаровары по колени, бесстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. Как только завидывали в стороне хутор, тотчас сворачали с большой дороги и, приблизившись к хате, выстроенной поопрятнее других, становились перед окнами в ряд и во весь рот начинали петь кант[10]. Хозяин хаты, какой-нибудь старый козак-поселянин, долго их слушал, подпершись обеими руками, потом рыдал прегорько и говорил, обращаясь к своей жене: «Жинко! То, что поют школяры, должно быть очень разумное; вынеси им сала и что-нибудь такого, что у нас есть!» И целая миска варенников валилась в мешок. Порядочный кус сала, несколько паляниц[11], а иногда и связанная курица помещались вместе. Подкрепившись таким запасом, грамматики, риторы, философы и богословы опять продолжали путь. Чем далее, однако же, шли они, тем более уменьшалась толпа их. Все почти разбродились по домам, и оставались те, которые имели родительские

[10] Примечания: 10
Кант — духовная песня.

[11] Примечания: 11
Паляница — круглый пшеничный хлеб.

гнезда далее других.

Один раз во время подобного странствования три бурсака своротили с большой дороги в сторону, с тем чтобы в первом попавшемся хуторе запастись провиантом, потому что мешок у них давно уже был пуст. Это были: богослов Халява, философ Хома Брут и ритор Тиберий Горобець.

Богослов был рослый, плечистый мужчина и имел чрезвычайно странный нрав: все, что ни лежало, бывало, возле него, он непременно украдет. В другом случае характер его был чрезвычайно мрачен, и когда напивался он пьян, то прятался в бурьяне, и семинарии стоило большого труда его сыскать там.

Философ Хома Брут был нрава веселого. Любил очень лежать и курить люльку. Если же пил, то непременно нанимал музыкантов и отплясывал тропака[12]. Он часто пробовал *крупного гороху*, но совершенно с философическим равнодушием, говоря, что чему быть, того не миновать.

Ритор Тиберий Горобець еще не имел права носить усов, пить горелки и курить люльки. Он

---

[12] Примечания: 12

Тропак — украинский народный танец, по исполнению близкий к гопаку.

носил только оселедец[13], и потому характер его в то время еще мало развился; но, судя по большим шишкам на лбу, с которыми он часто являлся в класс, можно было предположить, что из него будет хороший воин. Богослов Халява и философ Хома часто дирали его за чуб в знак своего покровительства и употребляли в качестве депутата.

Был уже вечер, когда они своротили с большой дороги. Солнце только что село, и дневная теплота оставалась еще в воздухе. Богослов и философ шли молча, куря люльки; ритор Тиберий Горобець сбивал палкою головки с будяков, росших по краям дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубов и орешника, покрывавшими луг. Отлогости и небольшие горы, зеленые и круглые, как куполы, иногда перемежевывали равнину. Показавшаяся в двух местах нива с вызревавшим житом давала знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже более часу, как они минули хлебные полосы, а между тем им не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсем омрачили небо, и только на западе бледнел остаток алого сияния.

— Что за черт! — сказал философ Хома Брут. —

---

[13] Примечания: 13

Оселедец — длинный чуб на темени бритой головы.

Сдавалось совершенно, как будто сейчас будет хутор.

Богослов помолчал, поглядел по окрестностям, потом опять взял в рот свою люльку, и все продолжали путь.

— Ей-богу! — сказал, опять остановившись, философ. — Ни чертова кулака не видно.

— А может быть, далее и попадется какой-нибудь хутор, — сказал богослов, не выпуская люльки.

Но между тем уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшие тучи усилили мрачность, и, судя по всем приметам, нельзя было ожидать ни звезд, ни месяца. Бурсаки заметили, что они сбились с пути и давно шли не по дороге.

Философ, пошаривши ногами во все стороны, сказал наконец отрывисто:

— А где же дорога?

Богослов помолчал и, надумавшись, примолвил:

— Да, ночь темная.

Ритор отошел в сторону и старался ползком нащупать дорогу, но руки его попадали только в лисьи норы. Везде была одна степь, по которой, казалось, никто не ездил. Путешественники еще сделали усилие пройти несколько вперед,

но везде была та же дичь. Философ попробовал перекликнуться, но голос его совершенно заглох по сторонам и не встретил никакого ответа. Несколько спустя только послышалось слабое стенание, похожее на волчий вой.

— Вишь, что тут делать? — сказал философ.

— А что? Оставаться и заночевать в поле! — сказал богослов и полез в карман достать огниво и закурить снова свою люльку. Но философ не мог согласиться на это. Он всегда имел обыкновение упрятать на ночь полпудовую краюху хлеба и фунта четыре сала и чувствовал на этот раз в желудке своем какое-то несносное одиночество. Притом, несмотря на веселый нрав свой, философ боялся несколько волков.

— Нет, Халява, не можно, — сказал он. — Как же, не подкрепив себя ничем, растянуться и лечь так, как собаке? Попробуем еще; может быть, набредем на какое-нибудь жилье и хоть чарку горелки удастся выпить на ночь.

При слове «горелка» богослов сплюнул в сторону и примолвил:

— Оно, конечно, в поле оставаться нечего.

Бурсаки пошли вперед, и, к величайшей радости их, в отдалении почудился лай. Прислушавшись, с которой стороны, они отправились

бодрее и, немного пройдя, увидели огонек.

— Хутор! Ей-богу, хутор! — сказал философ.

Предположения его не обманули: через несколько времени они увидели точно небольшой хуторок, состоявший из двух только хат, находившихся в одном и том же дворе. В окнах светился огонь. Десяток сливных дерев торчало под тыном. Взглянувши в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели двор, установленный чумацкими возами. Звезды кое-где глянули в это время на небе.

— Смотрите же, братцы, не отставать! Во что бы то ни было, а добыть ночлега!

Три ученых мужа яростно ударили в ворота и закричали:

— Отвори!

Дверь в одной хате заскрыпела, и минуту спустя бурсаки увидели перед собою старуху в нагольном тулупе.

— Кто там? — закричала она, глухо кашляя.

— Пусти, бабуся, переночевать. Сбились с дороги. Так в поле скверно, как в голодном брюхе.

— А что вы за народ?

— Да народ необидчивый: богослов Халява, философ Брут и ритор Горобець.

— Не можно, — проворчала старуха, — у меня

народу полон двор, и все углы в хате заняты. Куды я вас дену? Да еще все какой рослый и здоровый народ! Да у меня и хата развалится, когда помещу таких. Я знаю этих философов и богословов. Если таких пьяниц начнешь принимать, то и двора скоро не будет. Пошли! Пошли! Тут вам нет места.

— Умилосердись, бабуся! Как же можно, чтобы христианские души пропали ни за что ни про что? Где хочешь помести нас. И если мы что-нибудь, как-нибудь того или какое другое что сделаем, то пусть нам и руки отсохнут, и такое будет, что Бог один знает. Вот что!

Старуха, казалось, немного смягчилась.

— Хорошо, — сказала она, как бы размышляя, — я впущу вас; только положу всех в разных местах: а то у меня не будет спокойно на сердце, когда будете лежать вместе.

— На то твоя воля; не будем прекословить, — отвечали бурсаки.

Ворота заскрипели, и они вошли во двор.

— А что, бабуся, — сказал философ, идя за старухой, — если бы так, как говорят… Ей-богу, в животе как будто кто колесами стал ездить. С самого утра вот хоть бы щепка была во рту.

— Вишь, чего захотел! — сказала старуха. — Нет

у меня, нет ничего такого, и печь не топилась сегодня.

— А мы бы уже за все это, — продолжал философ, — расплатились бы завтра как следует — чистоганом. Да, — продолжал он тихо, — черта с два получишь ты что-нибудь!

— Ступайте, ступайте! И будьте довольны тем, что дают вам. Вот черт принес нежных паничей!

Философ Хома пришел в совершенное уныние от таких слов. Но вдруг нос его почувствовал запах сушеной рыбы. Он глянул на шаровары богослова, шедшего с ним рядом, и увидел, что из кармана его торчал преогромный рыбий хвост: богослов уже успел подтибрить с воза целого карася. И так как он это производил не из какой-нибудь корысти, но единственно по привычке, и, позабывши совершенно о своем карасе, уже разглядывал, что бы такое стянуть другое, не имея намерения пропустить даже изломанного колеса, то философ Хома запустил руку в его карман, как в свой собственный, и вытащил карася.

Старуха разместила бурсаков: ритора положила в хате, богослова заперла в пустую комору, философу отвела тоже пустой овечий хлев.

Философ, оставшись один, в одну минуту съел карася, осмотрел плетеные стены хлева, толкнул

ногою в морду просунувшуюся из другого хлева любопытную свинью и поворотился на другой бок, чтобы заснуть мертвецки. Вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла в хлев.

— А что, бабуся, чего тебе нужно? — сказал философ.

Но старуха шла прямо к нему с распростертыми руками.

«Эге-ге! — подумал философ. — Только нет, голубушка!

Устарела». Он отодвинулся немного подальше, но старуха без церемонии опять подошла к нему.

— Слушай, бабуся! — сказал философ. — Теперь пост; а я такой человек, что и за тысячу золотых не захочу оскоромиться.

Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова.

Философу сделалось страшно, особливо когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском.

— Бабуся! Что ты? Ступай, ступай себе с Богом! — закричал он.

Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками. Он вскочил на ноги с намерением бежать, но старуха стала в дверях и вперила на

него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему.

Философ хотел оттолкнуть ее руками, но, к удивлению, заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались; и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, как билось его сердце; он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желая удержать ноги; но они, к величайшему изумлению его, подымались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегуна. Когда уже минули они хутор и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне потянулся черный, как уголь, лес, тогда только сказал он сам себе: «Эге, да это ведьма».

Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины — все, казалось, как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз

вспорхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря; по крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшею на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему — и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось — и вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не

покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически-нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде…

Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится? Но там что? Ветер или музыка: звенит, звенит, и вьется, и подступает, и вонзается в душу какою-то нестерпимою трелью…

«Что это?» — думал философ Хома Брут, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него градом. Он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердца уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою. Изнеможденный, растерянный, он начал припоминать все, какие только знал, молитвы. Он перебирал все заклятья против духов — и вдруг почувствовал какое-то освежение; чувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее, ведьма как-то слабее держалась на спине его. Густая трава касалась его, и уже он не видел в ней ничего необыкновенного. Светлый серп светил на небе.

«Хорошо же!» — подумал про себя философ Хома и начал почти вслух произносить заклятия.

Наконец с быстротою молнии выпрыгнул из-под старухи и вскочил, в свою очередь, к ней на спину. Старуха мелким, дробным шагом побежала так быстро, что всадник едва мог переводить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. Все было ясно при месячном, хотя и неполном, свете. Долины были гладки, но все от быстроты мелькало неясно и сбивчиво в его глазах. Он схватил лежавшее на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху. Дикие вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу; и невольно мелькнула в голове мысль: точно ли это старуха? «Ох, не могу больше!» — произнесла она в изнеможении и упала на землю.

Он стал на ноги и посмотрел ей в очи: рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей. Перед ним лежала красавица с растрепанною роскошною косою, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые нагие руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез.

Затрепетал, как древесный лист, Хома: жалость и какое-то странное волнение и робость, неве-

домые ему самому, овладели им; он пустился бежать во весь дух. Дорогой билось беспокойно его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное, новое чувство им овладело. Он уже не хотел более идти на хутора и спешил в Киев, раздумывая всю дорогу о таком непонятном происшествии.

Бурсаков почти никого не было в городе: все разбрелись по хуторам, или на кондиции, или просто без всяких кондиций, потому что по хуторам малороссийским можно есть галушки, сыр, сметану и вареники величиною в шляпу, не заплатив гроша денег. Большая разъехавшаяся хата, в которой помещалась бурса, была решительно пуста, и сколько философ ни шарил во всех углах и даже ощупал все дыры и западни в крыше, но нигде не отыскал ни куска сала или, по крайней мере, старого книша[14], что, по обыкновению, запрятываемо было бурсаками.

Однако же философ скоро сыскался, как поправить своему горю: он прошел, посвистывая, раза три по рынку, перемигнулся на самом конце с какою-то молодою вдовою в желтом очипке, продававшею ленты, ружейную дробь и колеса, — и

---

[14] Примечания: 14
Книш — вид белого хлеба.

был того же дня накормлен пшеничными варениками, курицею… и, словом, перечесть нельзя, что у него было за столом, накрытым в маленьком глиняном домике среди вишневого садика. Того же самого вечера видели философа в корчме: он лежал на лавке, покуривая, по обыкновению своему, люльку, и при всех бросил жиду-корчмарю ползолотой. Перед ним стояла кружка. Он глядел на приходивших и уходивших хладнокровно-довольными глазами и вовсе уже не думал о своем необыкновенном происшествии.

Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников, которого хутор находился в пятидесяти верстах от Киева, возвратилась в один день с прогулки вся избитая, едва имевшая силы добресть до отцовского дома, находится при смерти и перед смертным часом изъявила желание, чтобы отходную по ней и молитвы в продолжение трех дней после смерти читал один из киевских семинаристов: Хома Брут. Об этом философ узнал от самого ректора, который нарочно призывал его в свою комнату и объявил, чтобы он без всякого отлагательства спешил в дорогу, что именитый сотник прислал за ним нарочно людей и возок.

Философ вздрогнул по какому-то безотчетному

чувству, которого он сам не мог растолковать себе. Темное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе. Сам не зная почему, объявил он напрямик, что не поедет.

— Послушай, domine[15] Хома! — сказал ректор (он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо с своими подчиненными). — Тебя никакой черт и не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь да мудрствовать, то прикажу тебя по спине и по прочему так отстегать молодым березняком, что и в баню не нужно будет ходить.

Философ, почесывая слегка за ухом, вышел, не говоря ни слова, располагая при первом удобном случае возложить надежду на свои ноги. В раздумье сходил он с крутой лестницы, приводившей на двор, обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавши довольно явственно голос ректора, дававшего приказания своему ключнику и еще кому-то, вероятно, одному из посланных за ним от сотника.

— Благодари пана за крупу и яйца, — говорил ректор, — и скажи, что как только будут готовы те

---

[15] Примечания: 15
Dominus (*лат.*) — господин.

книги, о которых он пишет, то я тотчас пришлю. Я отдал их уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случае прислал бы: здесь на базарах и нехороша, и дорога. А ты, Явтух, дай молодцам по чарке горелки. Да философа привязать, а не то как раз удерет.

«Вишь, чертов сын! — подумал про себя философ. — Пронюхал, длинноногий вьюн!»

Он сошел вниз и увидел кибитку, которую принял было сначала за хлебный овин на колесах. В самом деле, она была так же глубока, как печь, в которой обжигают кирпичи. Это был обыкновенный краковский экипаж, в каком жиды полсотнею отправляются вместе с товарами во все города, где только слышит их нос ярмарку. Его ожидало человек шесть здоровых и крепких Козаков, уже несколько пожилых. Свитки из тонкого сукна с кистями показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владельцу. Небольшие рубцы говорили, что они бывали когда-то на войне не без славы.

«Что ж делать? Чему быть, тому не миновать!» — подумал про себя философ и, обратившись к козакам, произнес громко:

— Здравствуйте, братья-товарищи!

— Будь здоров, пан философ! — отвечали некоторые из Козаков.

— Так вот это мне приходится сидеть вместе с вами? А брика знатная! — продолжал он, влезая. — Тут бы только нанять музыкантов, то и танцевать можно.

— Да, соразмерный экипаж! — сказал один из Козаков, садясь на облучок сам-друг с кучером, завязавшим голову тряпицею вместо шапки, которую он успел оставить в глинке. Другие пять вместе с философом полезли в углубление и расположились на мешках, наполненных разною закупкою, сделанною в городе.

— Любопытно бы знать, — сказал философ, — если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром — положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы тогда коней?

— Да, — сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, — достаточное бы число потребовалось коней.

После такого удовлетворительного ответа козак почитал себя вправе молчать во всю дорогу.

Философу чрезвычайно хотелось узнать обстоятельнее: кто таков был этот сотник, каков

его нрав, что слышно о его дочке, которая таким необыкновенным образом возвратилась домой и находилась при смерти и которой история связалась теперь с его собственною, как у них и что делается в доме? Он обращался к ним с вопросами; но козаки, верно, были тоже философы, потому что в ответ на это молчали и курили люльки, лежа на мешках. Один только из них обратился к сидевшему на козлах вознице с коротеньким приказанием: «Смотри, Оверко, ты старый разиня; как будешь подъезжать к шинку, что на Чухрайловской дороге, то не позабудь остановиться и разбудить меня и других молодцов, если кому случится заснуть». После этого он заснул довольно громко. Впрочем, эти наставления были совершенно напрасны, потому что едва только приблизилась исполинская брика к шинку на Чухрайловской дороге, как все в один голос закричали: «Стой!» Притом лошади Оверка были так уже приучены, что останавливались сами перед каждым шинком. Несмотря на жаркий июльский день, все вышли из брики, отправились в низенькую запачканную комнату, где жид-корчмарь с знаками радости бросился принимать своих старых знакомых. Жид принес под полою несколько колбас из свинины и, положивши на

стол, тотчас отворотился от этого запрещенного Талмудом[16] плода. Все уселись вокруг стола. Глиняные кружки показались пред каждым из гостей. Философ Хома должен был участвовать в общей пирушке. И так как малороссияне, когда подгуляют, непременно начнут целоваться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаниями: «А ну, Спирид, почеломкаемся!» — «Иди сюда, Дорош, я обниму тебя!»

Один козак, бывший постарее всех других, с седыми усами, подставивши руку под щеку, начал рыдать от души о том, что у него нет ни отца, ни матери и что он остался одним-один на свете. Другой был большой резонер[17] и беспрестанно утешал его, говоря: «Не плачь, ей-богу, не плачь! что ж тут… уж Бог знает, как и что такое». Один, по имени Дорош, сделался чрезвычайно любопытен и, оборотившись к философу Хоме, беспрестанно спрашивал его:

— Я хотел бы знать, чему у вас в бурсе учат: тому ли самому, что и дьяк читает в церкви, или

---

[16] Примечания: 16

Талмуд — свод правил, составленный на основе толкований еврейских священных книг и регламентирующий право и быт верующих евреев.

[17] Примечания: 17

Резонер — человек, любящий пространно рассуждать, морализаторствовать.

чему другому?

— Не спрашивай! — говорил протяжно резонер. — Пусть его там будет, как было. Бог уж знает, как нужно; бог все знает.

— Нет, я хочу знать, — говорил Дорогп, — что там написано в тех книжках. Может быть, совсем другое, чем у дьяка.

— О, Боже мой, Боже мой! — говорил этот почтенный наставник. — И на что такое говорить? Так уж воля божия положила. Уже что Бог дал, того не можно переменить.

— Я хочу знать все, что ни написано. Я пойду в бурсу, ей-богу, пойду! Что ты думаешь, я не выучусь? Всему выучусь, всему!

— О, Боже ж мой, Боже мой!.. — говорил утешитель и спустил свою голову на стол, потому что совершенно был не в силах держать ее долее на плечах.

Прочие козаки толковали о панах и о том, отчего на небе светит месяц.

Философ Хома, увидя такое расположение голов, решился воспользоваться и улизнуть. Он сначала обратился к седовласому козаку, грустившему об отце и матери:

— Что ж ты, дядько, расплакался, — сказал он, — я сам сирота! Отпустите меня, ребята, на

волю! На что я вам?

— Пустим его на волю! — отозвались некоторые. — Ведь он сирота. Пусть себе идет, куда хочет.

— О, Боже ж мой, Боже мой! — произнес утешитель, подняв свою голову. — Отпустите его! Пусть идет себе!

И козаки уже хотели сами вывесть его в чистое поле, но тот, который показал свое любопытство, остановил их, сказавши:

— Не трогайте: я хочу с ним поговорить о бурсе. Я сам пойду в бурсу…

Впрочем, вряд ли бы этот побег мог совершиться, потому что когда философ вздумал подняться из-за стола, то ноги его сделались как будто деревянными и дверей в комнате начало представляться ему такое множество, что вряд ли бы он отыскал настоящую.

Только ввечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далее в дорогу. Взмостившись в брику, они потянулись, погоняя лошадей и напевая песню, которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал. Проколесивши большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученной наизусть, они наконец спустились с крутой горы в долину, и философ заметил по

сторонам тянувшийся частокол или плетень с низенькими деревьями и выказывавшимися из-за них крышами. Это было большое селение, принадлежавшее сотнику. Уже было далеко за полночь; небеса были темны, и маленькие звездочки мелькали кое-где. Ни в одной хате не видно было огня. Они взъехали, в сопровождении собачьего лая, на двор. С обеих сторон были заметны крытые соломою сараи и домики. Один из них, находившийся как раз посередине против ворот, был более других и служил, как казалось, пребыванием сотника. Брика остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправились спать. Философ хотел, однако же, несколько обсмотреть снаружи панские хоромы; но как он ни пялил свои глаза, ничто не могло означиться в ясном виде: вместо дома представлялся ему медведь; из трубы делался ректор. Философ махнул рукою и пошел спать.

Когда проснулся философ, то весь дом был в движении: в ночь умерла панночка. Слуги бегали впопыхах взад и вперед. Старухи некоторые плакали. Толпа любопытных глядела сквозь забор на панский двор, как будто бы могла что-нибудь увидеть.

Философ начал на досуге осматривать те места,

которые он не мог разглядеть ночью. Панский дом был низенькое небольшое строение, какие обыкновенно строились в старину в Малороссии. Он был покрыт соломою. Маленький, острый и высокий фронтон с окошком, похожим на поднятый кверху глаз, был весь измалеван голубыми и желтыми цветами и красными полумесяцами. Он был утвержден на дубовых столбиках, до половины круглых и снизу шестигранных, с вычурною обточкою вверху. Под этим фронтоном находилось небольшое крылечко со скамейками по обеим сторонам. С боков дома были навесы на таких же столбиках, инде витых. Высокая груша с пирамидальною верхушкою и трепещущими листьями зеленела перед домом. Несколько амбаров в два ряда стояли среди двора, образуя род широкой улицы, ведшей к дому. За амбарами, к самым воротам, стояли треугольниками два погреба, один напротив другого, крытые также соломою. Треугольная стена каждого из них была снабжена низенькою дверью и размалевана разными изображениями. На одной из них нарисован был сидящий на бочке козак, державший над головою кружку с надписью: «Все выпью».

На другой фляжка, сулеи[18] и по сторонам, для красоты, лошадь, стоявшая вверх ногами, трубка, бубны и надпись: «Вино — козацкая потеха». Из чердака одного из сараев выглядывал сквозь огромное слуховое окно барабан и медные трубы. У ворот стояли две пушки. Все показывало, что хозяин дома любил повеселиться и двор часто оглашали пиршественные клики. За воротами находились две ветряные мельницы. Позади дома шли сады; и сквозь верхушки дерев видны были одни только темные шляпки труб скрывавшихся в зеленой гуще хат. Все селение помещалось на широком и ровном уступе горы. С северной стороны все заслоняла крутая гора и подошвою своею оканчивалась у самого двора. При взгляде на нее снизу она казалась еще круче, и на высокой верхушке ее торчали кое-где неправильные стебли тощего бурьяна и чернели на светлом небе. Обнаженный глинистый вид ее навевал какое-то уныние. Она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточинами. На крутом косогоре ее в двух местах торчали две хаты; над одною из них раскидывала ветви широкая яблоня, подпертая у корня небольшими кольями с насыпною

---

[18] Примечания: 18

Сулея — плоская бутылка с горлышком.

землей. Яблоки, сбиваемые ветром, скатывались в самый панский двор. С вершины вилась по всей горе дорога и, опустившись, шла мимо двора в селенье. Когда философ измерил страшную круть ее и вспомнил вчерашнее путешествие, то решил, что или у пана были слишком умные лошади, или у Козаков слишком крепкие головы, когда и в хмельном чаду умели не полететь вверх ногами вместе с неизмеримой брикою и багажом. Философ стоял на высшем в дворе месте, и, когда оборотился и глянул в противоположную сторону, ему представился совершенно другой вид. Селение вместе с отлогостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое пространство; яркая зелень их темнела по мере отдаления, и целые ряды селений синели вдали, хотя расстояние их было более нежели на двадцать верст. С правой стороны этих лугов тянулись горы, и чуть заметною вдали полосою горел и темнел Днепр.

— Эх, славное место! — сказал философ. — Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и в прудах, охотиться с тенетами или с ружьем за стрепетами и крольшнепами! Впрочем, я думаю, и дроф немало в этих лугах. Фруктов же можно насушить и продать в город множество или, еще лучше, вы-

курить из них водку; потому что водка из фруктов ни с каким пенником не сравнится. Да не мешает подумать и о том, как бы улизнуть отсюда.

Он приметил за плетнем маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяном. Он поставил машинально на нее ногу, думая наперед только прогуляться, а потом тихомолком, промеж хат, да и махнуть в поле, как внезапно почувствовал на своем плече довольно крепкую руку.

Позади его стоял тот самый старый козак, который вчера так горько соболезновал о смерти отца и матери и о своем одиночестве.

— Напрасно ты думаешь, пан философ, улепетнуть из хутора! — говорил он. — Тут не такое заведение, чтобы можно было убежать; да и дороги для пешехода плохи. А ступай лучше к пану: он ожидает тебя давно в светлице.

— Пойдем! Что ж… Я с удовольствием, — сказал философ и отправился вслед за козаком.

Сотник, уже престарелый, с седыми усами и с выражением мрачной грусти, сидел перед столом в светлице, подперши обеими руками голову. Ему было около пятидесяти лет; но глубокое уныние на лице и какой-то бледно-тощий цвет показывали, что душа его была убита и разрушена вдруг, в

одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезла навеки. Когда взошел Хома вместе с старым козаком, он отнял одну руку и слегка кивнул головою на низкий их поклон.

Хома и козак почтительно остановились у дверей.

— Кто ты, и откудова, и какого звания, добрый человек? — сказал сотник ни ласково, ни сурово.

— Из бурсаков, философ Хома Брут.

— А кто был твой отец?

— Не знаю, вельможный пан.

— А мать твоя?

— И матери не знаю. По здравому рассуждению, конечно, была мать; но кто она, и откуда, и когда жила — ей-богу, добродию, не знаю.

Сотник помолчал и, казалось, минуту оставался в задумчивости.

— Как же ты познакомился с моею дочкою?

— Не знакомился, вельможный пан, ей-богу, не знакомился. Еще никакого дела с панночками не имел, сколько ни живу на свете. Цур им, чтобы не сказать непристойного.

— Отчего же она не другому кому, а тебе именно назначила читать?

Философ пожал плечами:

— Бог его знает, как это растолковать. Извест-

ное уже дело, что панам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет; и пословица говорит: «Скачи, враже, як пан каже!»

— Да не врешь ли ты, пан философ?

— Вот на этом самом месте пусть громом так и хлопнет, если лгу.

— Если бы только минуточкой долее прожила ты, — грустно сказал сотник, — то, верно бы, я узнал все. «Никому не давай читать по мне, но пошли, тату, сей же час в Киевскую семинарию и привези бурсака Хому Брута. Пусть три ночи молится по грешной душе моей. Он знает…» А что такое знает, я уже не услышал. Она, голубонька, только и могла сказать, и умерла. Ты, добрый человек, верно, известен святою жизнию своею и богоугодными делами, и она, может быть, наслышалась о тебе.

— Кто? Я? — сказал бурсак, отступивши от изумления. — Я святой жизни? — произнес он, посмотрев прямо в глаза сотнику. — Бог с вами, пан! Что вы это говорите! Да я, хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого страстного четверга.

— Ну… верно, уже недаром так назначено. Ты должен с сего же дня начать свое дело.

— Я бы сказал на это вашей милости… оно, конечно, всякий человек, вразумленный Святому писанию, может по соразмерности… только сюда приличнее бы требовалось дьякона или, по крайней мере, дьяка. Они народ толковый и знают, как все это уже делается, а я… Да у меня и голос не такой, и сам я — черт знает что. Никакого виду с меня нет.

— Уж как ты себе хочешь, только я все, что завещала мне моя голубка, исполню, ничего не пожалея. И когда ты с сего дня три ночи совершишь, как следует, над нею молитвы, то я награжу тебя; а не то — и самому черту не советую рассердить меня.

Последние слова произнесены были сотником так крепко, что философ понял вполне их значение.

— Ступай за мною! — сказал сотник.

Они вышли в сени. Сотник отворил дверь в другую светлицу, бывшую насупротив первой. Философ остановился на минуту в сенях высморкаться и с каким-то безотчетным страхом переступил через порог. Весь пол был устлан красной китайкой. В углу, под образами, на высоком столе лежало тело умершей, на одеяле из синего бархата, убранном золотою бахромою и

кистями. Высокие восковые свечи, увитые калиною, стояли в ногах и в головах, изливая свой мутный, терявшийся в дневном сиянии свет. Лицо умершей было заслонено от него неутешным отцом, который сидел перед нею, обращенный спиною к дверям. Философа поразили слова, которые он услышал:

— Я не о том жалею, моя наимилейшая мне дочь, что ты во цвете лет своих, не дожив положенного века, на печаль и горесть мне, оставила землю. Я о том жалею, моя голубонька, что не знаю того, кто был, лютый враг мой, причиною твоей смерти. И если бы я знал, кто мог подумать только оскорбить тебя или хоть бы сказал что-нибудь неприятное о тебе, то, клянусь Богом, не увидел бы он больше своих детей, если только он так же стар, как и я; ни своего отца и матери, если только он еще на поре лет, и тело его было бы выброшено на съедение птицам и зверям степным. Но горе мне, моя полевая нагидочка[19], моя перепеличка, моя ясочка[20], что проживу я остальной век свой без потехи, утирая полою

---

[19] Примечания: 19

Нагидочка — ноготок (однолетнее растение с желтыми цветами); здесь: ласковое обращение.

[20] Примечания: 20

Ясочка — ласковое обращение; «душечка».

дробные слезы, текущие из старых очей моих, тогда как враг мой будет веселиться и втайне посмеиваться над хилым старцем…

Он остановился, и причиною этого была разрывающая горесть, разрешившаяся целым потоком слез.

Философ был тронут такою безутешной печалью. Он закашлял и издал глухое крехтание, желая очистить им немного свой голос.

Сотник оборотился и указал ему место в головах умершей, перед небольшим налоем, на котором лежали книги.

«Три ночи как-нибудь отработаю, — подумал философ, — зато пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами».

Он приблизился и, еще раз откашлявшись, принялся читать, не обращая никакого внимания на сторону и не решаясь взглянуть в лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Он заметил, что сотник вышел. Медленно поворотил он голову, чтобы взглянуть на умершую, и…

Трепет пробежал по его жилам: пред ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала как живая. Чело, прекрасное,

нежное, как снег, как серебро, казалось, мыслило; брови — ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные, горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний; уста — рубины, готовые усмехнуться… Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное.

Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровию к самому сердцу. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице ее.

— Ведьма! — вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, побледнел весь и стал читать свои молитвы.

Это была та самая ведьма, которую убил он.

Когда солнце стало садиться, мертвую понесли в церковь. Философ одним плечом своим поддерживал черный траурный гроб и чувствовал на плече своем что-то холодное, как лед. Сотник сам шел впереди, неся рукою правую сторону тесного дома умершей. Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя

конусообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения. Свечи были зажжены почти перед каждым образом. Гроб поставили посередине, против самого алтаря. Старый сотник поцеловал еще раз умершую, повергнулся ниц и вышел вместе с носильщиками вон, дав повеление хорошенько накормить философа и после ужина проводить его в церковь. Пришедши в кухню, все несшие гроб начали прикладывать руки к печке, что обыкновенно делают малороссияне, увидевши мертвеца.

Голод, который в это время начал чувствовать философ, заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей. Скоро вся дворня мало-помалу начала сходиться в кухню. Кухня в сотниковом доме была что-то похожее на клуб, куда стекалось все, что ни обитало во дворе, считая в это число и собак, приходивших с машущими хвостами к самым дверям за костями и помоями. Куда бы кто ни был посылаем и по какой бы то ни было надобности, он всегда прежде заходил на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавке и выкурить люльку. Все холостяки, жившие в доме, щеголявшие в козацких свитках, лежали здесь почти целый день на лавке, под лавкою, на

печке — одним словом, где только можно было сыскать удобное место для лежанья. Притом всякий вечно позабывал в кухне или шапку, или кнут для чужих собак, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собрание бывало во время ужина, когда приходил и табунщик, успевший загнать своих лошадей в загон, и погонщик, приводивший коров для дойки, и все те, которых в течение дня нельзя было увидеть. За ужином болтовня овладевала самыми неговорливыми языками. Тут обыкновенно говорилось обо всем: и о том, кто пошил себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка. Тут было множество бонмотистов[21], в которых между малороссиянами нет недостатка.

Философ уселся вместе с другими в обширный кружок на вольном воздухе перед порогом кухни. Скоро баба в красном очипке высунулась из дверей, держа в обеих руках горячий горшок с галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынул из кармана своего деревянную ложку, иные, за неимением, деревянную спичку. Как только уста стали двигаться немного медленнее и волчий голод всего этого

---

[21] Примечания: 21

Бонмотист (от франц. *bon mot*) — остряк.

собрания немного утишился, многие начали разговаривать. Разговор, натурально, должен был обратиться к умершей.

— Правда ли, — сказал один молодой овчар, который насадил на свою кожаную перевязь для люльки столько пуговиц и медных блях, что был похож на лавку мелкой торговки, — правда ли, что панночка, не тем будь помянута, зналась с нечистым?

— Кто? панночка? — сказал Дорош, уже знакомый прежде нашему философу. — Да она была целая ведьма! Я присягну, что ведьма!

— Полно, полно, Дорош! — сказал другой, который во время дороги изъявлял большую готовность утешать. — Это не наше дело; Бог с ним. Нечего об этом толковать.

Но Дорош вовсе не был расположен молчать. Он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу и, наклонившись раза два к двум или трем бочкам, вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил без умолку.

— Что ты хочешь? Чтобы я молчал? — сказал он. — Да она на мне самом ездила! Ей-богу, ездила!

— А что, дядько, — сказал молодой овчар с пу-

говицами, — можно ли узнать по каким-нибудь приметам ведьму?

— Нельзя, — отвечал Дорош. — Никак не узнаешь; хоть все псалтыри перечитай, то не узнаешь.

— Можно, можно, Дорош. Не говори этого, — произнес прежний утешитель. — Уже Бог недаром дал всякому особый обычай. Люди, знающие науку, говорят, что у ведьмы есть маленький хвостик.

— Когда стара баба, то и ведьма, — сказал хладнокровно седой козак.

— О, уж хороши и вы! — подхватила баба, которая подливала в то время свежих галушек в очистившийся горшок. — Настоящие толстые кабаны.

Старый козак, которого имя было Явтух, а прозвание Ковтун, выразил на губах своих улыбку удовольствия, заметив, что слова его задели за живое старуху; а погонщик скотины пустил такой густой смех, как будто бы два быка, ставши один против другого, замычали разом.

Начавшийся разговор возбудил непреодолимое желание и любопытство философа узнать обстоятельнее про умершую сотникову дочь. И потому, желая опять навести его на прежнюю материю,

обратился к соседу своему с такими словами:

— Я хотел спросить, почему все это сословие, что сидит за ужином, считает панночку ведьмою? Что ж, разве она кому-нибудь причинила зло или извела кого-нибудь?

— Было всякого, — отвечал один из сидевших, с лицом гладким, чрезвычайно похожим на лопату.

— А кто не припомнит псаря Микиту, или того…

— А что ж такое псарь Микита? — сказал философ.

— Стой! Я расскажу про псаря Микиту, — сказал Дорош.

— Я расскажу про Микиту, — отвечал табунщик, — потому что он был мой кум.

— Я расскажу про Микиту, — сказал Спирид.

— Пускай, пускай Спирид расскажет! — закричала толпа.

Спирид начал:

— Ты, пан философ Хома, не знал Микиты. Эх, какой редкий был человек! Собаку каждую он, бывало, так знает, как родного отца. Теперешний псарь Микола, что сидит третьим за мною, и в подметки ему не годится. Хотя он тоже разумеет свое дело, но он против него — дрянь, помои.

— Ты хорошо рассказываешь, хорошо! — сказал Дорош, одобрительно кивнув головою.

Спирид продолжал:

— Зайца увидит скорее, чем табак утрешь из носу. Бывало, свистнет: «А ну, Разбой! А ну, Быстрая!» — а сам на коне во всю прыть — и уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит: он ли собаку или собака его. Сивухи кварту свиснет вдруг как бы не бывало. Славный был псарь! Только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на панночку. Вклепался ли он точно в нее или уже она так его околдовала, только пропал человек, обабился совсем; сделался черт знает что; пфу! Непристойно и сказать.

— Хорошо, — сказал Дорош.

— Как только панночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает, Разбоя зовет Бровком, спотыкается и невесть что делает. Один раз панночка пришла на конюшню, где он чистил коня. Дай, говорит, Микитка, я положу на тебя свою ножку. А он, дурень, и рад тому: говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за нагие ее ножки,

пошел скакать, как конь, по всему полю, и куда они ездили, он ничего не мог сказать; только воротился едва живой и с той поры иссохнул весь, как щепка; и когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы да пустое ведро: сгорел совсем; сгорел сам собою. А такой был псарь, какого на всем свете не можно найти.

Когда Спирид окончил рассказ свой, со всех сторон пошли толки о достоинствах бывшего псаря.

— А про Шепчиху ты не слышал? — сказал Дорош, обращаясь к Хоме.

— Нет.

— Эге-ге-ге! Так у вас, в бурсе, видно, не слишком большому разуму учат. Ну, слушай! У нас есть на селе козак Шептун. Хороший козак! Он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды, но… хороший козак. Его хата не так далеко отсюда. В такую самую пору, как мы теперь сели вечерять, Шептун с жинкою, окончивши вечерю, легли спать, а так как время было хорошее, то Шепчиха легла на дворе, а Шептун в хате на лавке; или нет: Шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе…

— И не на лавке, а на полу легла Шепчиха, — подхватила баба, стоя у порога и подперши рукою щеку.

Дорош поглядел на нее, потом поглядел вниз,

потом опять на нее и, немного помолчав, сказал:

— Когда скину с тебя при всех исподницу[22], то нехорошо будет.

Это предостережение имело свое действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи.

Дорош продолжал:

— А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя — не знаю, мужеского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака и воет так, хоть из хаты беги. Она испугалась, ибо бабы такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за дверей язык, то и душа войдет в пятки. Однако ж, думает, дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, авось-либо перестанет выть, — и, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее — и прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а панночка. Да притом пускай бы уже панночка в таком виде, как она ее знала, — это бы еще ничего; но вот вещь и обстоятельство: она была вся синяя, а глаза горели, как уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Шепчиха только закричала:

---

[22] Примечания: 22

Исподница — нижняя рубашка (обычно женская).

«Ох, лишечко!» — да из хаты. Только видит, что в сенях двери заперты. Она на чердак; сидит и дрожит, глупая баба, а потом видит, что панночка к ней идет и на чердак; кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже Шептун поутру вытащил оттуда свою жинку, всю искусанную и посиневшую. А на другой день и умерла глупая баба. Так вот какие устройства и обольщения бывают! Оно хоть и панского помету, да все когда ведьма, то ведьма.

После такого рассказа Дорош самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготовляя ее к набивке табаком. Материя[23] о ведьме сделалась неисчерпаемою. Каждый, в свою очередь, спешил что-нибудь рассказать. К тому ведьма в виде скирды сена приехала к самым дверям хаты; у другого украла шапку или трубку; у многих девок на селе отрезала косу; у других выпила по нескольку ведер крови.

Наконец вся компания опомнилась и увидела, что заболталась уже чересчур, потому что уже на дворе была совершенная ночь. Все начали разбродиться по ночлегам, находившимся или на кухне, или в сараях, или среди двора.

---

[23] Примечания: 23

Материя — здесь: тема.

— А ну, пан Хома! Теперь и нам пора идти к покойнице, — сказал седой козак, обратившись к философу, и все четверо, в том числе Спирид и Дорош, отправились в церковь, стегая кнутами собак, которых на улице было великое множество и которые со злости грызли их палки.

Философ, несмотря на то что успел подкрепить себя доброю кружкою горелки, чувствовал втайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освещенной церкви. Рассказы и странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Мрак под тыном[24] и деревьями начинал редеть; место становилось обнаженнее. Они вступили наконец за ветхую церковную ограду в небольшой дворик, за которым не было ни деревца и открывалось одно пустое поле да поглощенные ночным мраком луга. Три козака взошли вместе с Хомою по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь. Здесь они оставили философа, пожелав ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за ним дверь по приказанию пана.

Философ остался один. Сначала он зевнул, потом потянулся, потом фукнул в обе руки и на-

---

[24] Примечания: 24

Тын (*укр.*) — забор, частокол.

конец уже обсмотрелся. Посредине стоял черный гроб. Свечи теплились пред темными образами. Свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. Отдаленные углы притвора[25] были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость; сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестела одними только искрами. Позолота в одном месте опала, в другом вовсе почернела; лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз обсмотрелся.

— Что ж, — сказал он, — чего тут бояться? Человек прийти сюда не может, а от мертвецов и выходцев из того света есть у меня молитвы такие, что как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут. Ничего, — повторил он, махнув рукою, — будем читать!

Подходя к крылосу, увидел он несколько связок свечей.

«Это хорошо, — подумал философ, — нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем. Эх, жаль, что во храме божием не можно люльки выкурить!»

И он принялся прилепливать восковые свечи

---

[25] Примечания: 25

Притвор — передняя часть церкви, непосредственно за папертью.

ко всем карнизам, налоям[26] и образам, не жалея их нимало, и скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из старинных резных рам, кое-где сверкавших позолотой. Он подошел ко гробу, с робостию посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз.

Такая страшная, сверкающая красота!

Он отворотился и хотел отойти; но по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее и потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она остановилась на щеке, то он различил

[26] Примечания: 26

Налой — то же, что аналой: высокий столик в церкви для икон или книг.

ясно, что это была капля крови.

Он поспешно отошел к крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчаливые и оглохлые. Одиноко, без эха, сыпался он густым басом в совершенно мертвой тишине и казался несколько диким даже самому чтецу.

«Чего бояться? — думал он между тем сам про себя. — Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится божьего слова. Пусть лежит! Да и что я за козак, когда бы устрашился? Ну, выпил лишнее — оттого и показывается страшно. А понюхать табаку: эх, добрый табак! Славный табак! Хороший табак!»

Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб, и невольное чувство, казалось, шептало ему: «Вот, вот встанет! Вот поднимется, вот выглянет из гроба!»

Но тишина была мертвая. Гроб стоял неподвижно. Свечи лили целый потоп света. Страшна освещенная церковь ночью, с мертвым телом и без души людей!

Возвыся голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни. Но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как

будто бы задавая невольный вопрос: «Что, если подымется, если встанет она?»

Но гроб не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звук, какое-нибудь живое существо, даже сверчок отозвался в углу! Чуть только слышался легкий треск какой-нибудь отдаленной свечки или слабый, слегка хлопнувший звук восковой капли, падавшей на пол.

«Ну, если подымется?..»

Она приподняла голову…

Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала… идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь.

Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг. С усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов.

Она стала почти на самой черте; но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший. Хома не имел духа взглянуть на нее. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые

глаза свои. Но, не видя ничего, с бешенством — что выразило ее задрожавшее лицо — обратилась в другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столп и угол, стараясь поймать Хому. Наконец остановилась, погрозив пальцем, и легла в свой гроб.

Философ все еще не мог прийти в себя и со страхом поглядывал на это тесное жилище ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга, им очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на средине церкви и остался неподвижным. Труп опять поднялся из него, синий, позеленевший. Но в то время послышался отдаленный крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкою.

Сердце у философа билось, и пот катился градом; но, ободренный петушьим криком, он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочесть прежде. При первой заре пришли сменить его дьячок и седой Явтух, который на тот раз отправлял должность церковного старосты.

Пришедши на отдаленный ночлег, философ долго не мог заснуть, но усталость одолела, и он

проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему происходившим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горелки. За обедом он скоро развязался, присовокупил кое к чему замечания и съел почти один довольно старого поросенка; но, однако же, о своем событии в церкви он не решался говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству и на вопросы любопытных отвечал: «Да, были всякие чудеса». Философ был одним из числа тех людей, которых если накормят, то у них пробуждается необыкновенная филантропия. Он, лежа с своей трубкой в зубах, глядел на всех необыкновенно сладкими глазами и беспрерывно поплевывал в сторону.

После обеда философ был совершенно в духе. Он успел обходить все селение, перезнакомиться почти со всеми; из двух хат его даже выгнали; одна смазливая молодка хватила его порядочно лопатой по спине, когда он вздумал было пощупать и полюбопытствовать, из какой материи у нее была сорочка и плахта[27]. Но чем более время близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ. За час до ужина вся почти дворня собиралась играть в кашу или в крагли — род кеглей,

[27] Примечания: 27

Плахта — женская одежда вместо юбки: четырехугольный кусок материи, обертываемый вокруг пояса.

где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом. Эта игра становилась очень интересною для зрителей: часто погонщик, широкий, как блин, влезал верхом на свиного пастуха, тщедушного, низенького, всего состоявшего из морщин. В другой раз погонщик подставлял свою спину, и Дорош, вскочивши на нее, всегда говорил: «Экой здоровый бык!» У порога кухни сидели те, которые были посолиднее. Они глядели чрезвычайно сурьезно, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или Спирида. Хома напрасно старался вмешаться в эту игру: какая-то темная мысль, как гвоздь, сидела в его голове. За вечерей сколько ни старался он развеселить себя, но страх загорался в нем вместе с тьмою, распростиравшеюся по небу.

— А ну, пора нам, пан бурсак! — сказал ему знакомый седой козак, подымаясь с места вместе с Дорошем. — Пойдем на работу.

Хому опять таким же самым образом отвели в церковь; опять оставили его одного и заперли за ним дверь. Как только он остался один, робость начала внедряться снова в его грудь. Он опять увидел темные образа, блестящие рамы и зна-

комый черный гроб, стоявший в угрожающей тишине и неподвижности среди церкви.

— Что же, — произнес он, — теперь ведь мне не в диковинку это диво. Оно с первого разу только страшно. Да! Оно только с первого разу немного страшно, а там оно уже не страшно; оно уже совсем не страшно.

Он поспешно стал на крылос, очертил около себя круг, произнес несколько заклинаний и начал читать громко, решаясь не подымать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что. Уже около часу читал он и начинал несколько уставать и покашливать. Он вынул из кармана рожок и, прежде нежели поднес табак к носу, робко повел глазами на гроб. Сердце его захолонуло.

Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые, позеленевшие глаза. Бурсак содрогнулся, и холод чувствительно пробежал по всем его жилам. Потупив очи в книгу, стал он читать громче свои молитвы и заклятья и слышал, как труп опять ударил зубами и замахал руками, желая схватить его. Но, покосивши слегка одним глазом, увидел он, что труп не там ловил его, где стоял он, и, как видно, не мог видеть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами страшные слова; хрипло всхли-

пывали они, как клокотанье кипящей смолы. Что значили они, того не мог бы сказать он, но что-то страшное в них заключалось. Философ в страхе понял, что она творила заклинания.

Ветер пошел по церкви от слов, и послышался шум, как бы от множества летящих крыл. Он слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как царапали с визгом когтями по железу и как несметная сила громила в двери и хотела вломиться. Сильно у него билось во все время сердце; зажмурив глаза, все читал он заклятья и молитвы. Наконец вдруг что-то засвистало вдали: это был отдаленный крик петуха. Изнуренный философ остановился и отдохнул духом.

Вошедшие сменить философа нашли его едва жива. Он оперся спиною в стену и, выпучив глаза, глядел неподвижно на толкавших его Козаков. Его почти вывели и должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедши на панский двор, он встряхнулся и велел себе подать кварту горелки. Выпивши ее, он пригладил на голове своей волосы и сказал:

— Много на свете всякой дряни водится! А страхи такие случаются — ну… — при этом философ махнул рукою.

Собравшийся возле него кружок потупил голову, услышав такие слова. Даже небольшой мальчишка, которого вся дворня почитала вправе уполномочивать вместо себя, когда дело шло к тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, даже этот бедный мальчишка тоже разинул рот.

В это время проходила мимо еще не совсем пожилая бабенка в плотно обтянутой запаске, выказывавшей ее круглый и крепкий стан, помощница старой кухарки, кокетка страшная, которая всегда находила что-нибудь пришпилить к своему очипку: или кусок ленточки, или гвоздику, или даже бумажку, если не было чего-нибудь другого.

— Здравствуй, Хома! — сказала она, увидев философа. — Ай-ай-ай! Что это с тобою? — вскричала она, всплеснув руками.

— Как что, глупая баба?

— Ах, Боже мой! Да ты весь поседел!

— Эге-ге! Да она правду говорит! — произнес Спирид, всматриваясь в него пристально. — Ты точно поседел, как наш старый Явтух.

Философ, услышавши это, побежал опрометью в кухню, где он заметил прилепленный к стене, обпачканный мухами треугольный кусок зеркала, перед которым были натыканы незабудки,

барвинки[28] и даже гирлянда из нагидок, показывавшие назначение его для туалета щеголеватой кокетки. Он с ужасом увидел истину их слов: половина волос его точно побелела.

Повесил голову Хома Брут и предался размышлению.

— Пойду к пану, — сказал он наконец, — расскажу ему все и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляет меня сей же час в Киев.

В таких мыслях направил он путь свой к крыльцу панского дома.

Сотник сидел почти неподвижен в своей светлице; та же самая безнадежная печаль, какую он встретил прежде на его лице, сохранялась в нем и доныне. Щеки его опали только гораздо более прежнего. Заметно было, что он очень мало употреблял пищи или, может быть, даже вовсе не касался ее. Необыкновенная бледность придавала ему какую-то каменную неподвижность.

— Здравствуй, небоже[29], — произнес он, увидев Хому, остановившегося с шапкою в руках у дверей. — Что, как идет у тебя? Все благопо-

---

[28] Примечания: 28

Барвинок (*укр.*) — мелкое кустарниковое растение с вечнозелеными листьями.

[29] Примечания: 29

Небоже (*укр.*) — бедняга.

лучно?

— Благополучно-то благополучно. Такая чертовщина водится, что прямо бери шапку да и улепетывай, куда ноги несут.

— Как так?

— Да ваша, пан, дочка… По здравому рассуждению, она, конечно, есть панского роду; в том никто не станет прекословить, только не во гнев будь сказано, успокой Бог ее душу…

— Что же дочка?

— Припустила к себе сатану. Такие страхи задает, что никакое Писание не учитывается.

— Читай, читай! Она недаром призвала тебя. Она заботилась, голубонька моя, о душе своей и хотела молитвами изгнать всякое дурное помышление.

— Власть ваша, пан: ей-богу, невмоготу!

— Читай, читай! — продолжал тем же увещательным голосом сотник. — Тебе одна ночь теперь осталась. Ты сделаешь христианское дело, и я награжу тебя.

— Да какие бы ни были награды… Как ты себе хочь, пан, а я не буду читать! — произнес Хома решительно.

— Слушай, философ, — сказал сотник, и голос его сделался крепок и грозен, — я не люблю этих

выдумок. Ты можешь это делать в вашей бурсе. А у меня не так: я уже как отдеру, так не то что ректор. Знаешь ли ты, что такое хорошие кожаные канчуки?

— Как не знать! — сказал философ, понизив голос. — Всякому известно, что такое кожаные канчуки: при большом количестве вещь нестерпимая.

— Да. Только ты не знаешь еще, как хлопцы мои умеют парить! — сказал сотник грозно, подымаясь на ноги, и лицо его приняло повелительное и свирепое выражение, обнаружившее весь необузданный его характер, усыпленный только на время горестью. — У меня прежде выпарят, потом вспрыснут горелкою, а после опять. Ступай, ступай! Исправляй свое дело! Не исправишь — не встанешь; а исправишь — тысяча червонных!

«Ого-го! Да это хват! — подумал философ, выходя. — С этим нечего шутить. Стой, стой, приятель: я так навострю лыжи, что ты с своими собаками не угонишься за мною».

И Хома положил непременно бежать. Он выжидал только послеобеденного часу, когда вся дворня имела обыкновение забираться в сено под сараями и, открывши рот, испускать такой храп и свист, что панское подворье делалось по-

хожим на фабрику. Это время наконец настало. Даже и Явтух зажмурил глаза, растянувшись перед солнцем. Философ со страхом и дрожью отправился потихоньку в панский сад, откуда, ему казалось, удобнее и незаметнее было бежать в поле. Этот сад, по обыкновению, был страшно запущен и, стало быть, чрезвычайно способствовал всякому тайному предприятию. Выключая только одной дорожки, протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто густо разросшимися вишнями, бузиною, лопухом, просунувшим на самый верх свои высокие стебли с цепкими розовыми шишками. Хмель покрывал, как будто сетью, вершину всего этого пестрого собрания дерев и кустарников и составлял над ними крышу, напялившуюся на плетень и спадавшую с него вьющимися змеями вместе с дикими полевыми колокольчиками. За плетнем, служившим границею сада, шел целый лес бурьяна, в который, казалось, никто не любопытствовал заглядывать, и коса разлетелась бы вдребезги, если бы захотела коснуться лезвеем своим одеревеневших толстых стеблей его.

Когда философ хотел перешагнуть плетень, зубы его стучали и сердце так сильно билось, что он сам испугался. Пола его длинной хлами-

ды[30], казалось, прилипала к земле, как будто ее кто приколотил гвоздем. Когда он переступал плетень, ему казалось, с оглушительным свистом трещал в уши какой-то голос: «Куда, куда?» Философ юркнул в бурьян и пустился бежать, беспрестанно оступаясь о старые корни и давя ногами своими кротов. Он видел, что ему, выбравшись из бурьяна, стоило перебежать поле, за которым чернел густой терновник, где он считал себя безопасным и пройдя который он, по предположению своему, думал встретить дорогу прямо в Киев. Поле он перебежал вдруг и очутился в густом терновнике. Сквозь терновник он пролез, оставив, вместо пошлины, куски своего сюртука на каждом остром шипе, и очутился на небольшой лощине. Верба разделившимися ветвями преклонялась инде почти до самой земли. Небольшой источник сверкал, чистый, как серебро. Первое дело философа было прилечь и напиться, потому что он чувствовал жажду нестерпимую.

— Добрая вода! — сказал он, утирая губы. — Тут бы можно отдохнуть.

— Нет, лучше побежим вперед: неравно будет погоня!

---

[30] Примечания: 30

Хламида — здесь: несуразная, долгополая одежда.

Эти слова раздались у него над ушами. Он оглянулся: перед ним стоял Явтух.

«Чертов Явтух! — подумал в сердцах про себя философ. — Я бы взял тебя, да за ноги… И мерзкую рожу твою, и все, что ни есть на тебе, побил бы дубовым бревном».

— Напрасно дал ты такой крюк, — продолжал Явтух, — гораздо лучше выбрать ту дорогу, по какой шел я: прямо мимо конюшни. Да притом и сюртука жаль. А сукно хорошее. Почем платил за аршин?[31] Однако ж погуляли довольно, пора домой.

Философ, почесываясь, побрел за Явтухом. «Теперь проклятая ведьма задаст мне пфейферу[32], — подумал он. — Да, впрочем, что я, в самом деле? Чего боюсь? Разве я не козак? Ведь читал же две ночи, поможет Бог и третью. Видно, проклятая ведьма порядочно грехов наделала, что нечистая сила так за нее стоит».

Такие размышления занимали его, когда он вступал на панский двор. Ободривши себя такими замечаниями, он упросил Дороша, который

---

[31] Примечания: 31

Аршин — русская мера длины, равная 0,711 метра.

[32] Примечания: 32

Пфейфер (от нем. *Pfeffer*) — перец. *Задать пфейферу* — задать взбучку, наказать.

посредством протекции ключника имел иногда вход в панские погреба, вытащить сулею сивухи, и оба приятеля, севши под сараем, вытянули немного не полведра, так что философ, вдруг поднявшись на ноги, закричал: «Музыкантов! Непременно музыкантов!» — и, не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на расчищенном месте отплясывать тропака. Он танцевал до тех пор, пока не наступило время полдника, и дворня, обступившая его, как водится в таких случаях, в кружок, наконец плюнула и пошла прочь, сказавши: «Вот это как долго танцует человек!» Наконец философ тут же лег спать, и добрый ушат холодной воды мог только пробудить его к ужину. За ужином он говорил о том, что такое козак и что он не должен бояться ничего на свете.

— Пора, — сказал Явтух, — пойдем.

«Спичка тебе в язык, проклятый кнур![33]» — подумал философ и, встав на ноги, сказал:

— Пойдем.

Идя дорогою, философ беспрестанно поглядывал по сторонам и слегка заговаривал с своими провожатыми. Но Явтух молчал; сам Дорош был неразговорчив. Ночь была адская. Волки выли

---

[33] Примечания: 33

Кнур (*укр.*) — самец свиньи.

вдали целою стаей. И самый лай собачий был как-то страшен.

— Кажется, как будто что-то другое воет: это не волк, — сказал Дорош.

Явтух молчал. Философ не нашелся сказать ничего.

Они приблизились к церкви и вступили под ее ветхие деревянные своды, показавшие, как мало заботился владетель поместья о Боге и о душе своей. Явтух и Дорош по-прежнему удалились, и философ остался один. Все было так же. Все было в том же самом грозно-знакомом виде. Он на минуту остановился. Посредине все так же неподвижно стоял гроб ужасной ведьмы. «Не побоюсь, ей-богу, не побоюсь!» — сказал он и, очертивши по-прежнему около себя круг, начал припоминать все свои заклинания. Тишина была страшная; свечи трепетали и обливали светом всю церковь. Философ перевернул один лист, потом перевернул другой и заметил, что он читает совсем не то, что писано в книге. Со страхом перекрестился он и начал петь. Это несколько ободрило его: чтение пошло вперед, и листы мелькали один за другим.

Вдруг… среди тишины… с треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец.

Еще страшнее был он, чем в первый раз. Зубы его страшно ударялись ряд о ряд, в судорогах задергались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла окошек. Двери сорвались с петлей, и несметная сила чудовищ влетела в божью церковь. Страшный шум от крыл и от царапанья когтей наполнил всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа.

У Хомы вышел из головы последний остаток хмеля. Он только крестился да читал как попало молитвы. И в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. Не имел духу разглядеть он их; видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах, как в лесу; сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв немного вверх брови. Над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря, с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионьих жал. Черная земля висела на них клоками. Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом.

— Приведите Вия! Ступайте за Вием! — разда-

лись слова мертвеца.

И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви; взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома.

— Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голосом Вий — и все сонмище кинулось подымать ему веки.

«Не гляди!» — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.

— Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха.

Раздался петуший крик. Это был уже второй крик; первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто как попало, в окна и двери, чтобы поскорее вылететь, но не тут-то было: так

и остались они там, завязнувши в дверях и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником; и никто не найдет теперь к ней дороги.

Когда слухи об этом дошли до Киева и богослов Халява услышал наконец о такой участи философа Хомы, то предался целый час раздумью. С ним в продолжение того времени произошли большие перемены. Счастие ему улыбнулось: по окончании курса наук его сделали звонарем самой высокой колокольни, и он всегда почти являлся с разбитым носом, потому что деревянная лестница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сделана.

— Ты слышал, что случилось с Хомою? — сказал, подошедши к нему, Тиберий Горобець, который в то время был уже философ и носил свежие усы.

— Так ему Бог дал, — сказал звонарь Халява. — Пойдем в шинок да помянем его душу!

Молодой философ, который с жаром энтузиаста начал пользоваться своими правами, так что на нем и шаровары, и сюртук, и даже шапка отзыва-

лись спиртом и табачными корешками, в ту же минуту изъявил готовность.

— Славный был человек Хома! — сказал звонарь, когда хромой шинкарь поставил перед ним третью кружку. — Знатный был человек! А пропал ни за что.

— А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, — все ведьмы.

На это звонарь кивнул головою в знак согласия. Но, заметивши, что язык его не мог произнести ни одного слова, он осторожно встал из-за стола и, пошатываясь на обе стороны, пошел спрятаться в самое отдаленное место в бурьяне. Причем не позабыл, по прежней привычке своей, утащить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке.

1835



Орест Михайлович Сомов
Киевские ведьмы



Молодой казак Киевского полка Федор Блискавка возвратился на свою родину из похода против утеснителен Малороссии, ляхов. Храбрый гетман войска малороссийского Тарас Трясила после знаменитой Тарасовой ночи, в которую он разбил высокомерного Конецпольского, выгнал ляхов из многих мест Малороссии, очистив

оные и от коварных подножков[34] польских, жидов-предателей. Много их пало от руки ожесточенных казаков, которые, добивая их, напевали те же самые ругательства, каковыми незадолго пред тем жиды оскорбляли православных. Все было припомянуто: и наушничество жидов, и услужливость их полякам, и мытарство их, и содержание на аренде церквей божиих, и продажа непомерною ценой святых пасох к Светлому Христову Воскресению. Само по себе разумеется, что имущество сих малодушных иноверцев было пощажено столь же мало, как и жизнь их. Казаки возвратились в домы свои, обременясь богатою добычей, которую считали весьма законною и которую летописец Малороссии оправдывает в душе своей, рассудив, сколь неправедно было стяжание выходцев иудейских. Это было справедливым возмездием за утеснения; и в сем случае казаки, можно сказать, забирали обратно свою собственность.

Те, которые знали Федора Блискавку как лихого

---

[34] Примечания: 34

Подножек (пидножок) — раб, прислужник, припадающий к ногам. Гетман Брюховецкий писал к царю Алексею Михайловичу: «Вашего Царского Пресветлого Величества, Благодателя мого милостивого верний холоп и найнижший подножок Пресветлого Престола, Боярин и Гетман верного войска Вашего Царского Пресветлого Величества Запорозкого Ивашка Брюховецкий»). (*Здесь и далее — прим. О. М. Сомова.*)

казака, догадывались, что он пришел домой не с пустыми руками. И в самом деле, при каждой расплате с шинкаркой или с бандуристами он вытаскивал у себя из кишени[35] целую горсть дукатов, а польскими злотыми только что не швырял по улицам. При взгляде на золото разгорались глаза у шинкарей и крамарей[36]; а при взгляде на казака разгорались щеки у девиц и молодиц. И было отчего: Федора Блискавку недаром все звали лихим казаком. Высокий его рост с молодецкою осанкой, статное, крепкое сложение тела, черные усы, которые он гордо покручивал, его молодость, красота и завзятость[37] хоть бы кому могли вскружить голову. Мудрено ли, что молодые киевлянки поглядывали на него с лукавою, приветливою усмешкой и что каждая из них рада была, когда он заводил с нею речь или позволял себе какую-нибудь незазорную вольность в обхождении?

---

[35] Примечания: 35
Кишень — карман.

[36] Примечания: 36
Крамарь — мелочной торговец красным товаром.

[37] Примечания: 37
Завзятость — удальство, молодечество.

Перекупки[38] на Печерске и на Подоле[39] знали его все, от первой до последней, и с довольными лицами перемигивались между собою, когда, бывало, он идет по базару. Они ждали этого, как ворон крови, потому что Федор Блискавка из казацкого молодечества расталкивал у них лотки с кнышами, сластенами либо черешнями[40] и раскатывал на все стороны большие вороха арбузов и дынь, а после платил за все втрое.

— Что так давно не видать нашего завзятого? — говорила одна из подольских перекупок своей соседке. — Без него и продажа не в продажу: сидишь, сидишь, а ни десятой доли в целый день не выручишь того, чем от него поживишься за один миг.

— До того ли ему! — отвечала соседка. — Видишь, он увивается около Катруси Ланцюговны. С нею теперь спознался, так и на базарах не показывается.

---

[38] Примечания: 38

Перекупка — рыночная торговка, продающая плоды, овощи и т. п. Перекупками называются они потому, что покупают сии произведения дешевою ценой у сельских жителей и продают дороже в городе.

[39] Примечания: 39

Печерск и Подол — части города Киева.

[40] Примечания: 40

Кныши — род саек; *сластены* — оладьи; *черешни* — небольшие сливы, похожие на французские *mirabelles* и очень сладкие.

— А чем Ланцюговна ему не невеста? — вмешалась в разговор их третья перекупка. — Девчина как маков цвет; поглядеть — так волей и неволей скажешь: красавица! Волосы как смоль, черная бровь, черный глаз, и ростом, и статью взяла; одна усмешка ее с ума сводит всех парубков. Да и мать ее — женщина не бедная; скупа, правда, старая карга! Зато денег у нее столько, что хоть лопатой греби.

— Все это так, — подхватила первая, — только про старую Ланцюжиху недобрая слава идет. Все говорят — наше место свято! — будто она ведьма.

— Слыхала и я такие слухи, кумушка, — заметила вторая.

— Сосед Панчоха сам однажды видел своими глазами, как старая Ланцюжиха вылетела из трубы и отправилась, видно, на шабаш…

— Да мало ли чего можно о ней рассказать! — перебила ее первая. — Вот у Петра Дзюбенка извела она корову, у Юрчевских отравила собак за то, что одна из них была ярчук[41] и узнавала ведьму по духу. А с Ничипором Проталием, по-

[41] Примечания: 41

Ярчук — собака, родившаяся с шестью пальцами и, по малороссийскому поверью, имеющая природный дар узнавать ведьм по духу, даже кусать их.

ссорившись за огород, сделала то, что не приведи Бог и слышать.

— Что, что такое? — вскричали с любопытством две другие перекупки.

— Ну, да уж что будет, то будет, а к слову пришлось рассказать. Старая Ланцюжиха испортила Ничипорову дочку так, что хоть брось. Теперь бедная Докийка то мяучит кошкой и царапается на стену, то лает собакой и кажет зубы, то стрекочет сорокой и прыгает на одной ножке…

— Полно вам щебетать, пустомели! — перервала их разговор одна старая перекупка с недобрым видом, поглядывая на всех такими глазами, с какими злая собака рычит на прохожих. — Толковали бы вы про себя, а не про других, — продолжала она отрывисто и сердито. — У вас все пожилые женщины с достатком — ведьмы; а на свои хвосты так вы не оглянетесь.

Все перекупки невольно вскрикнули при последних словах старухи, но мигом унялись, ибо не смели с нею ссориться: про нее тоже шла тишком молва, что и она принадлежала к кагалу[42] киевских ведьм. Нашлись, однако же, добрые люди, которые хотели предостеречь Федора Блискавку

---

[42] Примечания: 42

Кагал — синагога или сборище.

от женитьбы на Катрусе Ланцюговне; но молодой казак смеялся им в глаза, отнюдь не думая отстать от Катруси. Да как было и верить чужим наговорам? Милая девушка смотрела на него так невинно, так добросердечно, улыбалась ему так умильно, что хотя бы целый Киев собрался на площади у Льва и присягнул в том, что мать ее точно ведьма, — и тогда бы Федор не поверил этому.

Он ввел молодую хозяйку в свой дом. Старая Ланцюжиха осталась в своей хате одна и отказалась от приглашения своего зятя перейти к нему на житье, дав ему такой ответ, что ей, по старым ее привычкам, нельзя было б ужиться с молодыми людьми. Федор Блискавка не мог нарадоваться, глядя на милую жену свою, не мог нахвалиться ею. И жаркие ласки, и пламенные поцелуи, и угодливость ее мужу своему, и досужество в домашнем быту — все было по сердцу нашему казаку. Странно казалось ему только то, что жена его среди самых сладостных излияний супружеской нежности вдруг иногда становилась грустна, тяжело вздыхала и даже слезы навертывались у ней на глазах; иногда же он подмечал такие взоры больших, черных ее глаз, что у него невольно холод пробегал по

жилам. Особливо замечал он это под исход месяца. Тогда жена его делалась мрачною, отвечала ему коротко и неохотно, и, казалось, какая-то тоска грызла ее за сердце. В это время все было не по ней: и ласки мужа, и приветы друзей его, и хозяйственные заботы; как будто божий мир становился ей тесен, как будто она рвалась куда-то, но с отвращением, с крайним насилием самой себе и словно по некоторому непреодолимому влечению. Порой заметно было, что она хотела в чем-то открыться мужу; но всякой раз тяжкая тайна залегала у ней в груди, теснила ее — и только смертная бледность, потоки слез и трепет всего ее тела открывали мужу ее, что тут было нечто непросто: более никакого признания не мог он от нее добиться. Катруся, вдруг овладев собою, оживлялась, начинала смеяться, играть как дитя и ласкать своего мужа больше прежнего; потом уверяла его, что это был болезненный припадок от порчи, брошенной на нее с малолетства дурным глазом какой-то злой старухи, но что это не бывает продолжительно. Федор верил ей, потому что любил жену свою и, сверх того, видал примеры подобной порчи или болезни.

Однако под исход месяца с наступлением ночи всегда замечал он в жене своей необыкновенное

беспокойство. Она, видимо, начинала чего-то бояться, поминутно вздрагивала и бледнела час от часу более. Хотел он дознаться причины тому, но это было сверх сил его: всякой раз, когда он с вечера подмечал в Катрусе какое-то душевное волнение, какую-то скрытую тревогу, неразгадаемый, глубокий сон одолевал его, лишь только он припадал головою к подушкам. Сам ли он догадался, или добрые люди надоумили, только однажды в такую ночь под исход месяца Федор, ложась в постелю, начал шарить рукой у себя под подушкой и нашел узелок каких-то трав. Едва он дотронулся до них рукою, вдруг почувствовал, что рука стала тяжелеть и кровь утихать в ней мало-помалу, как будто засыпая. Жена его на тот раз была занята хозяйственными хлопотами и не примечала за ним. Федор мигом отдернул форточку у окна и выбросил узелок. Дворная собака, лежавшая на приспе[43], вероятно, думала, что бросили ей кость или другую поживу; она встала, отряхнулась, с одного скачка очутилась над узелком и начала его обнюхивать; но только что понюхала, как зашаталась, упала и заснула крепким сном. «Эге! Так вот от чего и я

[43] Примечания: 43
Приспа — завалина, земляная насыпь вокруг хаты.

спал, дорогая моя женушка!» — подумал Федор. Сомнения его отчасти подтвердились; но чтобы совершенно убедиться в ужасной тайне и не навести подозрения жене своей, он притворился спящим и храпел так, как будто бы трое суток провел без сна. Катруся, возвратясь из клети, куда она выносила остатки ужина, подошла к своему мужу, положила руку на его грудь, поглядела ему в лицо и, тяжело вздохнув, отошла к печи. Федор Блискавка, не переставая храпеть изо всей силы, открыл до половины глаза и следил ими за своей женою. Он видел, как она развела в печи огонь, как поставила на уголья горшок с водою, как начала в него бросать какие-то снадобья, приговаривая вполголоса странные, дикие для слуха слова. Внимание Федора увеличивалось с каждою минутой: страх, гнев и любопытство боролись в нем; наконец последнее взяло верх. Притворяясь по-прежнему спящим, он высматривал, что будет далее.

Когда в горшке вода закипела белым ключом, то над ним как будто прошумела буря, как будто застучал крупный дождь, как будто прогремел сильный гром; наконец раздалось из него писклявым и резким голосом, похожим на визг железа, чертящего по точилу, трижды слово: «Лети, лети,

лети!» Тут Катруся поспешно натерлась какой-то мазью и улетела в трубу.

Дрожь проняла бедного казака, так что зуб на зуб не попадал. Теперь уже нет больше сомнения: жена его ведьма; он сам видел, как она снаряжалась, как отправилась на шабаш. На что решиться? В тогдашнем волнении чувств и тревоге душевной он ничего не мог придумать, даже недоставало у него ни на что смелости; лучше отложить до следующего раза, чтоб иметь время все обдумать, ко всему приготовиться и запастись отвагой. Так он и решился. Однако же бессонница его мучила, страх прогонял дремоту; ему все чудились какие-то отвратительные пугалища. Он ворочался на постеле, потом встал и ходил по хате; напрасно! Сон бежал от него, в хате ему было душно. Он вышел на чистый воздух; тихая, прохладная ночь немного освежила его; месяц последним бледным светом своим как будто прощался с землею до нового возрождения. При его чуть брезжущем свете Федор увидел спавшую собаку и подле ней заколдованный узелок. Чтоб избавиться от тяжкой бессонницы и скрыть от жены своей, что он проник в ее тайну, Федор поднял узелок двумя щепками; и вмиг собака встрепенулась, вскочила, потрясла головой и

начала ласкаться к своему хозяину. Не теряя времени, молодой казак возвратился в хату, положил узелок под изголовье, прилег на него и заснул как убитый.

Когда он открыл глаза, то увидел, что Катруся лежала подле него. На лице ее не было заметно даже и следов вчерашнего исступления, ни в глазах ее той неистовой дикости, с которою она делала заклинания свои. Какая-то томная нега, какая-то тихая радость отражались в ее взорах и улыбке. Никогда еще не расточала она столько страстных поцелуев, столько детских ласк своему мужу, как в это утро. Словом, она была молодая, милая и любящая женщина, творение бесхитростное и младенчески-резвое, но отнюдь не та страшная чародейка, которою муж ее видел ночью. И казалось, это не было и не могло быть в ней притворством: она дышала только для любви, видела все счастие жизни только в милом друге своем. Уже казак начал колебаться мыслями: вправду ли случилось то, чему он был свидетелем? Не сон ли такой привиделся ему ночью? Не злой ли дух смущал его страшными грезами, чтобы отвратить его сердце от жены любимой?

Прошел и еще месяц. Катруся во все это время

по-прежнему была домовитою хозяйкою, милою, веселою молодицей, ласковою, услужливою женой. Однако же Федор Блискавка обдумывал втайне, что должно ему было делать, и наконец надумался. Под исход месяца стал он прилежнее наблюдать за своей женою и заметил в ней те же самые признаки: и слезы, и тяжкие вздохи, и тайную тоску, и отвращение от всего, даже от ласк ее мужа, и порою дикий, неподвижный взор. Еще с вечера Федор объявил, что ему было душно в хате, и отворил оконце; когда же ложился в постелю, то, запустив руку под изголовье, выхватил узелок и выбросил его на двор с такою же быстротою, с какою обыкновенно отбрасывал он горящий уголь, когда доставал его из печи, чтоб закурить трубку. Все это было исполнено мигом, так что Катруся никак не могла сего заметить. Радуясь успеху, казак притворился спящим и захрапел, как и в первый раз. Жена таким же образом подошла к постели и поглядела ему в лицо, положила руку на его грудь, наклонилась, поцеловала мужа своего, и он почувствовал, что горячая слеза упала ему на щеку. Потом с тяжким вздохом, отирая себе глаза рукавом тонкой сорочки, она принялась за богоотступное свое дело. Внимание казака, подкрепляемое твердою его

решимостью и отвагой, на сей раз удвоилось. Он присматривался, где и какие снадобья брала жена его, вслушивался в чудные слова и затвердил их. Уже ничто не было ему страшно: ни пламенное, неистовое лицо и сверкающие глаза жены, ни рев бури, ни гром, ни резкий, отвратительный голос из горшка. И едва молодая ведьма исчезла в трубу, муж ее вскочил с постели, подбросил новых дров на потухавшие уголья, налил свежей воды в горшок и поставил его на огонь. Потом отыскал небольшой ларец, спрятанный под лавкою в подполье и закладенный каменьями, раскрыл его — и остолбенел от ужаса и омерзения. Там были человеческие кости и волосы, сушеные нетопыри и жабы, скидки змеиной кожи, волчьи зубы, чертовы пальцы[44], осиновые уголья, кости черной кошки, множество разных невиданных раковин, сушеных трав и кореньев и… всего нельзя припомнить. Победив свое отвращение, Федор схватил полную горсть сих колдовских припасов и бросил их в котел, приговаривая те слова, которые перенял у жены своей. Но когда котел начал кипеть, то Федор почувствовал, что лицо его кривлялось и подергивалось, как от

[44] Примечания: 44

Чертов палец — ископаемое, находимое весьма часто в Украине. Он имеет вид конический и цветом похож на нечистый янтарь.

судороги, глаза искосились, волосы поднялись дыбом, в груди как будто кто стучал молотком, и все кости его хрупали в суставах. После сего он пришел в какое-то исступление ума, ощутил в себе непомерную отвагу, нечто похожее на крайнюю степень опьянения; в глазах его попеременно мелькали яркие искры, светлые полосы, какие-то дивные, уродливые призраки; над ним и буря злилась, и дождь шумел, и гром гремел — но он уже ничего не боялся. И когда услышал зычный, резкий голос из горшка и слово: «Лети, лети, лети!», то, не владея собою от бешенства, торопливо схватил коробочку с мазью, натер себе руки, ноги, лицо и грудь… и вмиг какая-то невидимая сила схватила его и бросила в трубу. Это быстрое движение заняло у него дух и отбило память. Когда же он очувствовался, то увидел себя под открытым небом на Лысой горе, за Киевом…

Что там увидел наш удалой казак, того, верно, кроме его ни одному православному христианину не доводилось видеть; да и не приведи Бог! И страх, и смех пронимали его попеременно: так ужасно, так уродливо было сборище на Лысой горе! По счастью, неподалеку от Федора Блискавки стоял огромный костер осиновых дров: он припал за этот костер и оттуда выглядывал,

как мышь из норки своей выглядывает в хату, которая наполнена людьми и кошками.

На самой верхушке горы было гладкое место, черное как уголь и голое, как безволосая голова старого деда. От этого и гора прозвана была Лысою. Посреди площадки стояли подмостки о семи ступенях, покрытые черным сукном. На них сидел пребольшой медведь с двойною обезьяньего мордой, козлиными рогами, змеиным хвостом, ежовою щетиной по всему телу, с руками остова и кошачьими когтями на пальцах. Вокруг него поодаль от площадки кипел целый базар ведьм, колдунов, упырей, оборотней, леших, водяных, домовых и всяких чуд невиданных и неслыханных. Там великан жид сидел на корточках перед цымбалами величиною с барку, на которых струны были не тоньше каната; жид колотил по ним большими граблями, потряхивая остроконечною своей бородою, хлопая глазами и кривляя свою рожу, и без того очень гадкую. Инде целая ватага чертенят, один другого гнуснее и неуклюжее, стучала в котлы, барабанила в бочонки, била в железные тарелки и горланила во весь рот. Тут вереница старых, сморщенных как гриб ведьм

водила журавля[45], приплясывая, стуча гоцки[46] сухими своими ногами, так что звон от костей раздавался кругом, и припевая таким голосом, что хоть уши зажми. Далее долговязые лешие пускались вприсядку с карликами домовыми. В ином месте беззубые, дряхлые ведьмы верхом на метлах, лопатах и ухватах чинно и важно, как знатные паньи, танцевали польской с седыми безобразными колдунами, из которых иной от старости гнулся в дугу, у другого нос перегибался через губы и цеплялся за подбородок, у третьего по краям рта торчали остальные два клыка, у четвертого на лбу столько было морщин, сколько волн ходит по Днепру в бурную погоду. Молодые ведьмы с безумным, неистовым смехом и взвизгиваньем, как пьяные бабы на веселье[47], плясали горлицу и метелицу[48] с косматыми водяными, у которых образины на два пальца покрыты были тиной; резвые, шаловливые русалки

---

[45] Примечания: 45

Журавель — малороссийская пляска, род польки, только гораздо живее; танцуется попарно.

[46] Примечания: 46

Гоцки — гоц-гоц! Чоканье ногой об ногу.

[47] Примечания: 47

Веселье (*висилье*) — свадьба, свадебный пир.

[48] Примечания: 48

Горлица и метелица — малороссийские пляски; танцуются кадрилью.

носились в дудочке[49] с упырями, на которых и посмотреть было страшно. Крик, гам, топот, возня, пронзительный скрып и свисты адских гудков и сопелок[50], пенье и визг чертенят и ведьм — все это было буйно, дико, бешено; и со всем тем видно было, что сия страшная сволочь от души веселилась.

Федор Блискавка из своей засады смотрел на это, и жутко ему было, так что холод сжимал всю внутренность. Невдалеке от себя увидел он и тещу свою, Ланцюжиху, с одним заднепровским пасечником, о котором всегда шла недобрая молва, и старую Одарку Швойду, торговавшую бубликами[51] на Подольском базаре, с девяностолетним крамарем Артюхом Холозием, которого все почитали чуть не за святого: так этот окаянный ханжа умел прикидываться набожным и смиренником; и нищую калеку Мотрю, побиравшуюся по улицам киевским, где люди добрые принимали

[49] Примечания: 49

Дудочка — тоже пляска, живая и быстрая. По большей части две женщины танцуют ее с одним мужчиной.

[50] Примечания: 50

Сопелка — дудка, свирель.

[51] Примечания: 51

Бублики — калачи или крендели.

ее за юродивую и прозвали Дзыгой[52]; а здесь она шла рука об руку с богатым скрягою паном Крупкою, которого незадолго перед тем казаки выжили из Киева и которого сами земляки его, ляхи, ненавидели за лихоимство. И мало ли кого там видел Федор Блискавка из своих знакомых, даже таких людей, о которых прежде бы никак не поверил, что они служат нечистому, хоть бы отец родной уверял его в том под присягой. Вся эта шайка пожилых ведьм и колдунов пускалась в плясовую так задорно, что пыль вилась столбом и что самым завзятым казакам и самым лихим молодицам было бы на зависть. Немного в стороне оттуда увидел Федор и свою жену. Катруся отхватывала казачка с плечистым и круторогим лешим, который скалил зубы и подмигивал ей, а она усмехалась и вилась перед ним, как юла. Федор, в гневе и ревности, хотел бы броситься на нее и на рогатого плясуна и порядком потузить обоих, но, подумав, удержался и сделал умно: где бы ему было сладить с целым чертовским кагалом, который, верно, напал бы на него, и тогда поминай как звали!

Вдруг раздался как внезапный порыв бури гу-

---

[52] Примечания: 52

Дзыга — волчок или юла, игрушка.

стой, сиповатый рев черного медведя, сидевшего на подмостках, — и покрыл собою все: и звон гудков и цымбалов, и свист волынок и сопелок, и гарканье, хохот и говор веселившейся толпы. Все утихло: каждый из плясунов, подняв в эту минуту одну ногу, как будто прирос на другой к своему месту; те из них, которые подпрыгнули вверх, так и остались на воздухе; отворенные рты не успели сомкнуться, поднятые в пляске руки и вздернутые вверх плечи и головы не успели опуститься; грабли жида на цымбалах и смычки чертенят на гудках словно окаменели у струн. Черный медведь протянул костяную руку, и мигом все запели:

Высоки скоки
В сороки,
Низки поклоны
В вороны[53],

подскокнули снова вверх и повалились на землю, головами к тому месту, где сидел медведь. «Ах ты, проклятое племя! — шептал про себя Федор Блискавка. — Оно же еще смеет и кощунствовать

[53] Примечания: 53

Свадебная песня. Заметим, что здесь предлог «в» заменяет предлог «у» русского языка.

над обрядами православных и напевать честные весельные песни на своем мерзкостном шабаше перед этим уродом в насмешку над добрыми людьми! Чтоб вы все провалились в тартарары, да и женушка моя с вами; чтоб вам всем по горячей пекельной[54] головне в глотку: тогда бы небось позабыли вы горланить и запели бы иную песню, чертова челядь!»

Черный медведь долго принюхивался во все стороны и наконец проревел как из бочки: «Здесь есть чужой дух!» В минуту все всполошились: нечистые духи, ведьмы, колдуны, упыри, русалки — все бросились искать с зверскими, кровавыми глазами, с пеною бешенства на губах. И Катруся — Катруся была из первых! Сердце замерло у Федора, холод пронимал его до костей. «Теперь-то, — думал казак, — настал мой смертный час!» Прижавшись вплоть к земле за дровами, он ни жив ни мертв выглядывал исподлобья. Вдруг видит: Катруся первая подбежала к тому месту, заглянула за костер, злобно сверкнула на мужа своим огненным взором, скрыпнула зубами… но в тот же миг сорвала с себя намитку, накинула на Федора, сунула под него лопату, провела пальцем

[54] Примечания: 54

Пекельный — адский; пекло — ад, от глагола: пеку, печь (по-малороссийски: пекты).

черту по воздуху на Киев — и, прежде чем Федор опомнился, он уже лежал в своей хате на постеле. Когда чувства его поуспокоились, он сел на постелю как человек, едва выздоравливающий от горячки, в которой грезились ему страшные мечты. Скоро мысли его приняли течение более правильное: он припоминал себе и страхи, и смешное, отвратительное гаерство прошлой ночи, и жену свою с ее любовью, с ее нежными ласками, с ее заботливостью о нем и о доме, с ее детскою игривостью… «И все это было только притворство! — думал он. — Все это нашептывала ей нечистая сила, чтобы лучше меня обмануть». То вдруг представлялась ему жена в минуту чародейских обрядов, то опять сверкала на него огненным взором и скрежетала зубами, как на Лысой горе… В задумчивости он и не приметил, что жена стояла подле него. Федор, взглянув на нее, вздрогнул, словно босою ногою наступил на змею. Катруся была бледна и томна, губы ее помертвели, глаза покраснели от слез, которые ручьями текли по ее лицу.

— Федор! — сказала она печально. — Зачем ты подсматривал, что я делала? Зачем, не спросясь меня, пускался на Лысую гору? Зачем не хотел довериться жене своей?.. Бог с тобою! Ты сам

растоптал наше счастие!..

— Прочь от меня, змея, злодейка, ведьма богомерзкая! — отвечал Федор с негодованием и отвращением. — Ты опять хочешь меня обойти бесовскою лестью?.. Так нет, не надейся!

— Послушай, Федор, — подхватила она, обвив его руками вокруг тела, припав головою к нему на грудь и умильно смотря ему в глаза. — Послушай! Не я виновата, мать моя всему виною: она неволей отвела меня на шабаш, неволей обрекла в ведьмы и вымучила из меня страшную клятву… Мне было тогда еще четырнадцать лет. И тогда я нехотя летала на шабаш, боясь матери: ведьмы и все их проклятые обряды и все их проклятые повадки были мне как острый нож, а от одной мысли про шабаш мутило у меня на душе. Суди же, каковы они были для меня, когда ты стал моим мужем — ты, кого люблю я как душу, как свое спасенье на том свете… Не раз хотела я отшатнуться от шабаша, не бывать на нем; только под исход месяца, чем больше я о том думала, тем больше меня мучила тоска несказанная. Ты сам знаешь, каково мне тогда бывало… Не приведи Бог и татарину того вытерпеть!.. И сколько я ни силилась одолеть тоску-злодейку, сколько ни отмаливалась — ничто не помогало! Все мне и

днем, и ночью кто-то надувал в уши про шабаш, все мне так и мерещилось, чтоб быть там. А наступал срочный день — какая-то невидимая сила так и тянула меня туда назло моей воле. Когда же я прилетала на Лысую гору, там меня словно дурь охватывала: буйно бросалась я в толпу ведьм, колдунов и всей бесовщины, сама себя не помнила, что делала, и не могла не делать того, что другие… Как Бога с небес, ждала я Страстной недели: тогда кинулась бы я в ноги чернецам божьим и упросила бы их, чтобы заперли меня на все последние три дня в Пещерах до самой воскресной заутрени и отмолили бы от меня бесовское наваждение… Теперь это поздно! Ты, милый муж мой, сокол мой ясный! Ты сам погубил и меня, и себя и навеки затворил от меня двери райские…

— Так живи же с своими родичами[55], лешими да русалками, коли запал тебе след туда, где веселятся души христианские!.. Сгинь отсюда! Оставь меня…

— Не властна я тебя оставить! — перервала его Катруся, сжав его еще крепче в объятиях и, так сказать, приросши к нему. — Я тебе сказала, что на мне лежит страшная клятва… В силу этой

---

[55] Примечания: 55

Родич — родня, родственник.

клятвы кто бы ни был из близких нам: муж ли, брат ли, отец ли… кто бы ни был тот, кто подсмотрит наши обряды, — но мы должны… ох! тяжело сказать!.. должны высосать до капли кровь его…

— Пей же мою кровь!.. Мне тошно жить на свете! Что мне в жизни?.. Одна мне приглянулась, стала моей женою; любил я ее пуще красного дня, пуще радости, и та обманула меня и чуть не породнила с бесовщиной… Все мне постыло на этом свете… Пей же, соси мою кровь!

— И мне не жить после тебя на свете! Увидит то душа твоя. Грустно мне, тяжко мне, что злая доля развела нас и здесь, и там… — Катруся зарыдала и упала в ноги мужу. — Об одном только прошу тебя, — продолжала она, — погляди на меня умильно, дай на себя насмотреться, поцелуй меня впоследние и прижми к своему сердцу, как прижимал тогда, когда любил меня!

Добрый Федор был тронут слезными просьбами жены своей. Он ласково взглянул на нее, обнял ее, и уста их слились в один долгий, жаркий поцелуй… В ту же минуту она рукою искала его сердца по биению… Вдруг какая-то острая, огненная искра проникла в сердце Федора; он почувствовал и боль, и приятное томление. Катруся припала к его сердцу, прильнула к нему губами; и между

тем как Федор истаивал в неге какого-то роскошного усыпления, Катруся, ласкаясь, спросила у него: «Сладко ли так засыпать?» — «Сладко!..» — отвечал он чуть слышным лепетом — и уснул навеки.

* * *

Тело казака похоронено было с честью усердными его товарищами. Ни жены, ни тещи его никто не видел на погребении; но в следующую ночь жители Киева сбежались на пожар: хата Федора Блискавки сгорела дотла. Тогда же видно было другое зарево от Лысой горы, и смельчаки, отважившиеся на другой день посмотреть вблизи, уверяли, что на горе уже не было огромного костра осиновых дров, а на месте его лежала только груда пеплу, и зловонный, серный дым стлался по окружности. Носилась молва, будто бы ведьмы сожгли на этом костре молодую свою сестру, Катрусю, за то, что она отступилась от кагала и хотела, принеся христианское покаяние, пойти в монастырь; и что будто бы мать ее, старая Ланцюжиха, первая подожгла костер. Как бы то ни было, только ни Катруси, ни Ланцюжихи не стало в Киеве. О последней говорили, что она оборотилась в волчицу и бегала за Днепром по бору.

Теперь Лысая гора есть только песчаный холм, от подошвы поросший кустарником. Видно, ведьмы ее покинули, и от того она просветлела.

1833

Валерий Яковлевич Брюсов
В зеркале
(Из архива психиатра)



Я зеркала полюбила с самых ранних лет. Я ребенком плакала и дрожала, заглядывая в их прозрачно-правдивую глубь. Моей любимой игрой в детстве было ходить по комнатам или по саду, неся перед собой зеркало, глядя в его пропасть, каждым шагом переступая край, задыхаясь от ужаса и головокружения. Уже девочкой я начала всю свою комнату уставлять зеркалами, большими и маленькими, верными и чуть-чуть

искажающими, отчетливыми и несколько туманными. Я привыкла целые часы, целые дни проводить среди перекрещивающихся миров, входящих один в другой, колеблющихся, исчезающих и возникающих вновь. Моей единственной страстью стало отдавать свое тело этим беззвучным далям, этим перспективам без эхо, этим отдельным вселенным, перерезывающим нашу, существующим, наперекор сознанию, в одно и то же время и в одном и том же месте с ней. Эта вывернутая действительность, отделенная от нас гладкой поверхностью стекла, почему-то недоступная осязанию, влекла меня к себе, притягивала, как бездна, как тайна.

Меня влек к себе и призрак, всегда возникавший предо мной, когда я подходила к зеркалу, странно удваивавший мое существо. Я старалась разгадать, чем та, другая женщина отличается от меня, как может быть, что моя правая рука у нее левая, и что все пальцы этой руки перемещены, хотя именно на одном из них мое обручальное кольцо. У меня мутились мысли, когда я пыталась вникнуть в эту загадку, разрешить ее. В этом мире, где ко всему можно притронуться, где звучат голоса, жила я, действительная; в том, отраженном мире, который можно только созерцать,

была она, призрачная. Она была почти как я — и совсем не я; она повторяла все мои движения, и ни одно из этих движений не совпадало с тем, что делала я. Та, другая, знала то, чего я не могла разгадать, владела тайной, навек сокрытой от моего рассудка.

Но я заметила, что у каждого зеркала есть свой отдельный мир, особенный. Поставьте на одно и то же место одно за другим два зеркала — и возникнут две разные вселенные. И в разных зеркалах передо мной являлись призраки разные, все похожие на меня, но никогда не тождественные друг с другом. В моем маленьком ручном зеркальце жила наивная девочка с ясными глазами, напоминавшими мне о моей ранней юности. В круглом будуарном таилась женщина, изведавшая все разнообразные сладости ласк, бесстыдная, свободная, красивая, смелая. В четырехугольной зеркальной дверце шкапа всегда вырастала фигура строгая, властная, холодная, с неумолимым взором. Я знала еще другие мои двойники — в моем трюмо, в складном золоченом триптихе, в висячем зеркале в дубовой раме, в шейном зеркальце и во многих, во многих хранившихся у меня. Всем существам, таящимся в них, я давала предлог и возможность проявиться.

По странным условиям их мира, они должны были принимать образ того, кто становился перед стеклом, но в этой заимствованной внешности сохраняли свои личные черты.

Были миры зеркал, которые я любила; были — которые ненавидела. В некоторые я любила уходить на целые часы, теряясь в их завлекающих просторах. Других я избегала. Свои двойники втайне я не любила все. Я знала, что все они мне враждебны уже за одно то, что принуждены облекаться в мой, ненавистный им образ. Но некоторых из зеркальных женщин я жалела, прощала им ненависть, относилась к ним почти дружески. Были такие, которых я презирала, над бессильной яростью которых любила смеяться, которых дразнила своей самостоятельностью и мучила своей властью над ними. Были, напротив, и такие, которых я боялась, которые были слишком сильны и осмеливались в свой черед смеяться надо мной, приказывали мне. От зеркал, где жили эти женщины, я спешила освободиться, в такие зеркала не смотрелась, прятала их, отдавала, даже разбивала. Но после каждого разбитого зеркала я не могла не рыдать целыми днями, сознавая, что разрушила отдельную вселенную. И укоряющие лики погубленного мира смотрели

на меня укоризненно из осколков.

Зеркало, ставшее для меня роковым, я купила осенью на какой-то распродаже. То было большое, качающееся на винтах трюмо. Оно меня поразило необычайной ясностью изображений. Призрачная действительность в нем изменялась при малейшем наклоне стекла, но была самостоятельна и жизненна до предела. Когда я рассматривала это трюмо на аукционе, женщина, изображавшая в нем меня, смотрела в глаза мне с каким-то надменным вызовом. Я не захотела уступить ей, показать, что она испугала меня, — купила трюмо и велела поставить его у себя в будуаре. Оставшись в своей комнате одна, я тотчас подступила к новому зеркалу и вперила глаза в свою соперницу. Но она сделала то же, и, стоя друг против друга, мы стали пронизывать одна другую взглядом, как змеи. В ее зрачках отражалась я, в моих — она. У меня замерло сердце и закружилась голова от этого пристального взгляда. Но усилием воли я наконец оторвала глаза от чужих глаз, ногой толкнула зеркало, так что оно закачалось, жалостно колыхая призрак моей соперницы, и вышла из комнаты.

С этого часа и началась наша борьба. Вечером, в первый день нашей встречи, я не осмелилась

приблизиться к новому трюмо, была с мужем в театре, преувеличенно смеялась и казалась веселой. На другой день при ясном свете сентябрьского дня я смело вошла в свой будуар одна и нарочно села прямо против зеркала. В то же мгновение та, другая, тоже вошла в дверь, идя мне навстречу, перешла комнату и тоже села против меня. Глаза наши встретились. Я в ее глазах прочла ненависть ко мне, она в моих — к ней. Начался наш второй поединок, поединок глаз, двух неотступных взоров — повелевающих, угрожающих, гипнотизирующих. Каждая из нас старалась завладеть волей соперницы, сломить ее сопротивление, заставить ее подчиняться своим хотениям. И страшно было бы со стороны увидеть двух женщин, неподвижно сидящих друг против друга, связанных магическим влиянием взора, почти теряющих сознание от психического напряжения… Вдруг меня позвали. Обаяние исчезло. Я встала, вышла.

После того поединки стали возобновляться каждый день. Я поняла, что эта авантюристка нарочно вторглась в мой дом, чтобы погубить меня и занять в нашем мире мое место.

Но отказаться от борьбы у меня недоставало сил. В этом соперничестве было какое-то скрытое

упоение. В самой возможности поражения таился какой-то сладкий соблазн. Иногда я заставляла себя по целым дням не подходить к трюмо, занимала себя делами, развлечениями — но в глубине моей души всегда таилась память о сопернице, которая терпеливо и самоуверенно ждала моего возвращения к ней. Я возвращалась, и она выступала передо мной, более торжествующая, чем прежде, пронизывала меня победным взором и приковывала меня к месту перед собой. Мое сердце останавливалось, и я с бессильной яростью чувствовала себя во власти этого взора…

Так проходили дни и недели; наша борьба длилась; но перевес все определеннее сказывался на стороне моей соперницы. И вдруг однажды я поняла, что моя воля подчинена ее воле, что она уже сильнее меня. Меня охватил ужас. Первым моим движением было — убежать из моего дома, уехать в другой город; но тотчас я увидела, что то было бы бесполезно: покорная притягательной силе вражеской воли, я все равно вернулась бы сюда, в эту комнату, к своему зеркалу. Тогда явилась вторая мысль — разбить зеркало, обратить мою соперницу в ничто; но победить ее грубым насилием значило признать ее превосходство над собой: это было бы унизительно. Я предпочла

остаться, чтобы довести начатую борьбу до конца, хотя бы мне и грозило поражение.

Скоро уже не было сомнений, что моя соперница торжествует. С каждой встречей все больше и больше власти надо мной сосредоточивалось в ее взгляде. Понемногу я утратила возможность за день не подойти ни разу к моему зеркалу. Она приказывала мне ежедневно проводить перед собой по несколько часов. Она управляла моей волей, как магнетизер волей сомнамбулы. Она распоряжалась моей жизнью, как госпожа жизнью рабы. Я стала исполнять то, что она требовала, я стала автоматом ее молчаливых повелений. Я знала, что она обдуманно, осторожно, но неизбежным путем ведет меня к гибели, и уже не сопротивлялась. Я разгадала ее тайный план: вбросить меня в мир зеркала, а самой выйти из него в наш мир, но у меня не было сил помешать ей. Мой муж, мои родные, видя, что я провожу целые часы, целые дни и целые ночи перед зеркалом, считали меня помешавшейся, хотели лечить меня. А я не смела открыть им истины, мне было запрещено рассказать им всю страшную правду, весь ужас, к которому я шла.

Днем гибели оказался один из декабрьских дней, перед праздниками. Помню все ясно, все

подробно, все отчетливо: ничего не спуталось в моих воспоминаниях. Я, по обыкновению, ушла в свой будуар рано, в самом начале зимних сумерек. Я поставила перед зеркалом мягкое кресло без спинки, села и отдалась ей. Она без замедления явилась на зов, тоже поставила кресло, тоже села и стала смотреть на меня. Темные предчувствия томили мою душу, но я не властна была опустить свое лицо и должна была принимать в себя наглый взгляд соперницы. Проходили часы, налегали тени. Никто из нас двух не зажег огня. Стекло слабо блестело в темноте. Изображения были уже едва видимы, но самоуверенные глаза смотрели с прежней силой. Я не чувствовала злобы или ужаса, как в другие дни, но только неутолимую тоску и горечь сознания, что я во власти другого. Время плыло, и я уплывала с ним в бесконечность, в черный простор бессилия и безволия.

Вдруг она — та, отраженная, — встала с кресла. Я вся задрожала от оскорбления. Но что-то непобедимое, что-то принуждавшее меня извне заставило встать и меня. Женщина в зеркале сделала шаг вперед. Я тоже. Женщина в зеркале простерла руки. Я тоже. Смотря все прямо на меня гипнотизирующими и повелительными

глазами, она все подвигалась вперед, а я шла ей навстречу. И странно: при всем ужасе моего положения, при всей моей ненависти к моей сопернице где-то в глубине моей души трепетало жуткое утешение, затаенная радость — войти наконец в этот таинственный мир, в который я всматривалась с детства и который до сих пор оставался недоступным для меня. Мгновениями я почти не знала, кто кого влечет к себе: она меня или я ее, она ли жаждет моего места или я задумала всю эту борьбу, чтобы заместить ее.

Но когда, подвигаясь вперед, мои руки коснулись у стекла ее рук, я вся помертвела от омерзения. А она властно взяла меня за руки и уже силой повлекла к себе. Мои руки погрузились в зеркало, словно в огненно-студеную воду. Холод стекла проник в мое тело с ужасающей болью, словно все атомы моего существа переменяли свое взаимоотношение. Еще через мгновение я лицом коснулась лица моей соперницы, видела ее глаза перед самыми моими глазами, слилась с ней в чудовищном поцелуе. Все исчезло в мучительном страдании, несравнимом ни с чем, — и, очнувшись из этого обморока, я уже увидела перед собой свой будуар, на который смотрела из зеркала. Моя соперница стояла передо мной и

хохотала. А я — о жестокость! — я, которая умирала от муки и унижения, я должна была смеяться тоже, повторяя все ее гримасы, торжествующим и радостным смехом. И не успела я еще осмыслить своего состояния, как моя соперница вдруг повернулась, пошла к дверям, исчезла из моих глаз, и я вдруг впала в оцепенение, в небытие.

После этого началась моя жизнь как отражения. Странная, полусознательная, хотя тайно сладостная жизнь. Нас было много в этом зеркале — темных душ, дремлющих сознаний. Мы не могли говорить одна с другой, но чувствовали близость, любили друг друга. Мы ничего не видели, слышали смутно, и наше бытие было подобно изнеможению от невозможности дышать. Только когда существо из мира людей подходило к зеркалу, мы, внезапно восприняв его облик, могли взглянуть в мир, различить голоса, вздохнуть всей грудью. Я думаю, что такова жизнь мертвых — неясное сознание своего «я», смутная память о прошлом и томительная жажда хотя бы на миг воплотиться вновь, увидеть, услышать, сказать… И каждый из нас таил и лелеял заветную мечту освободиться, найти себе новое тело, уйти в мир постоянства и незыблемости.

Первые дни я чувствовала себя совершенно

несчастной в своем новом положении. Я еще ничего не знала, ничего не умела. Покорно и бессмысленно принимала я образ моей соперницы, когда она приближалась к зеркалу и начинала насмехаться надо мной. А она делала это довольно часто. Ей доставляло великое наслаждение щеголять передо мной своей жизненностью, своей реальностью. Она садилась и заставляла сесть меня, вставала и ликовала, видя, что я встала, размахивала руками, танцевала, принуждала меня удваивать ее движения и хохотала, хохотала, чтобы хохотала и я. Она кричала мне в лицо обидные слова, а я не могла отвечать ей. Она грозила мне кулаком и издевалась над моим обязательным повторным жестом. Она поворачивалась ко мне спиной, и я, теряя зрение, теряя лик, сознавала всю постыдность оставленного мне половинного существования… И потом вдруг она одним ударом перевертывала зеркало вокруг оси и с размаха бросала меня в полное небытие.

Однако понемногу оскорбления и унижения пробудили во мне сознание. Я поняла, что моя соперница теперь живет моей жизнью, пользуется моими туалетами, считается женой моего мужа, занимает в свете мое место. Чувство ненависти и жажда мести выросли тогда в моей душе,

как два огненных цветка. Я стала горько клясть себя за то, что по слабости или по преступному любопытству дала победить себя. Я пришла к уверенности, что никогда эта авантюристка не восторжествовала бы надо мной, если бы я сама не помогала ей в ее кознях. И вот, освоившись несколько с условиями моего нового бытия, я решилась повести с ней ту же борьбу, какую она вела со мной. Если она, тень, сумела занять место действительной женщины, неужели же я, человек, лишь временно ставший тенью, не буду сильнее призрака?

Я начала очень издалека. Сперва я стала притворяться, что насмешки моей соперницы мучат меня все нестерпимей. Я доставляла ей нарочно все наслаждения победы. Я дразнила в ней тайные инстинкты палача, прикидываясь изнемогающей жертвой. Она поддалась на эту приманку. Она увлеклась этой игрой со мной. Она расточала свое воображение, выдумывая новые пытки для меня. Она изобретала тысячи хитростей, чтобы еще и еще раз показать мне, что я — лишь отражение, что своей жизни у меня нет. То она играла передо мной на рояли, муча меня беззвучностью моего мира. То она, сидя перед зеркалом, глотала маленькими глотками

мои любимые ликеры, заставляя меня только делать вид, что я тоже их пью. То, наконец, приводила в мой будуар людей мне ненавистных и перед моим лицом отдавала им целовать свое тело, позволяя им думать, что они целуют меня. И после, оставшись наедине со мной, она хохотала злорадным и торжествующим смехом. Но этот хохот уже не уязвлял меня; на его острие была сладость: мое ожидание мести!

Незаметно в часы ее надругательств надо мной я приучала мою соперницу смотреть мне в глаза, овладевала постепенно ее взором. Скоро по своей воле я уже могла заставлять ее подымать и опускать веки, делать то или иное движение лицом. Торжествовать уже начинала я, хотя и скрывала свое чувство под личиной страдания. Сила души возрастала во мне, и я осмеливалась приказывать моему врагу: сегодня ты сделаешь то-то, сегодня ты поедешь туда-то, завтра придешь ко мне тогда-то. И она исполняла! Я опутывала ее душу сетями своих хотений, сплетала твердую нить, на которой держала ее волю, ликовала втайне, отмечая свои успехи. Когда она однажды, в час своего хохота, вдруг уловила на моих губах победную усмешку, которой я не могла скрыть, было уже поздно. Она с яростью выбежала тогда из комна-

ты, но я, впадая в сон своего небытия, знала, что она вернется, знала, что она подчинится мне! И восторг победы реял над моим безвольным бессилием, радужным веером прорезал мрак моей мнимой смерти.

Она вернулась! Она пришла ко мне в гневе и страхе, кричала на меня, грозила мне. А я ей приказывала. И она должна была повиноваться. Началась игра кошки с мышью. В любой час я могла вбросить ее вновь в глубь стекла и выйти вновь в звонкую и твердую действительность. Она знала, что это — в моей воле, и такое сознание мучило ее вдвое. Но я медлила. Мне было сладостно нежиться порой в небытии. Мне было сладостно упиваться возможностью. Наконец (это странно, не правда ли?), во мне вдруг пробудилась жалость к моей сопернице, к моему врагу, к моему палачу. Все же в ней было что-то мое, и мне страшно было вырвать ее из яви жизни и обратить в призрак. Я колебалась и не смела, я давала отсрочки день за днем, я сама не знала, чего я хочу и что меня ужасает.

И вдруг в ясный весенний день в будуар вошли люди с досками и топорами. Во мне не было жизни, я лежала в сладострастном оцепенении, но, не видя, поняла, что они здесь. Люди стали

хлопотать около зеркала, которое было моей вселенной. И одна за другой души, населявшие ее вместе со мной, пробуждались и принимали призрачную плоть в форме отражений. Страшное беспокойство заколебало мою сонную душу. Предчувствуя ужас, предчувствуя уже непоправимую гибель, я собрала всю мощь своей воли. Каких усилий стоило мне бороться с истомой полубытия! Так живые люди борются иногда с кошмаром, вырываясь из его душащих уз к действительности.

Я сосредоточивала все силы своего внушения на зове, устремленном к ней, к моей сопернице: «Приди сюда!» Я гипнотизировала, магнетизировала ее всем напряжением своей полусонной воли. А времени было мало. Зеркало уже качали. Уже готовились забивать его в дощатый гроб, чтобы везти: куда — неизвестно. И вот, почти в смертельном порыве, я позвала вновь и вновь: «Приди!..» И вдруг почувствовала, что оживаю. Она, мой враг, отворила дверь и, бледная, полумертвая, шла навстречу мне на мой зов упирающимися шагами, как идут на казнь. Я схватила в свои глаза ее глаза, связала свой взор с ее взором и после этого уже знала, что победа за мной.

Я тотчас заставила ее выслать людей из комнаты. Она подчинилась, не сделав даже попытки сопротивляться. Мы вновь были вдвоем. Медлить было больше нельзя. Да и не могла я простить ей коварства. На ее месте в свое время я поступала иначе. Теперь я безжалостно приказала ей идти мне навстречу. Стон муки открывал ее губы, глаза расширились, как перед призраком, но она шла, шатаясь, падая, — шла. Я тоже шла навстречу ей, с губами, искривленными торжеством, с глазами, широко открытыми от радости, шатаясь от пьянящего восторга. Снова соприкоснулись наши руки, снова сблизились наши губы, и мы упали одна в другую, сжигаемые невыразимой болью перевоплощения. Через миг я была уже перед зеркалом, грудь моя наполнилась воздухом, я вскрикнула громко и победно и упала здесь же, перед трюмо, ниц от изнеможения.

Ко мне вбежали мой муж, люди. Я только могла проговорить, чтобы исполнили мой прежний приказ, чтобы унесли из дому, прочь, совсем, это зеркало. Это было умно придумано, не правда ли? Ведь та, другая, могла воспользоваться моей слабостью в первые минуты моего возвращения к жизни и отчаянным натиском попытаться вырвать у меня из рук победу. Отсылая зеркало из

дому, я на долгое, на любое время обеспечивала себе спокойствие, а соперница моя заслуживала такое наказание за свое коварство. Я ее поражала ее собственным оружием, клинком, который она сама подняла на меня.

Отдав приказание, я лишилась чувств. Меня уложили в постель. Позвали врача. Со мной сделалась от всего пережитого нервная горячка. Близкие уже давно считали меня больной, ненормальной. В первом порыве ликования я не остереглась и рассказала им все, что со мной было. Мои рассказы только подтвердили их подозрения. Меня перевезли в психиатрическую лечебницу, где я нахожусь и теперь. Все мое существо, я согласна, еще глубоко потрясено. Но я не хочу оставаться здесь. Я жажду вернуться к радостям жизни, ко всем бесчисленным утехам, которые доступны живому человеку. Слишком долго я была лишена их.

Кроме того, — сказать ли? — у меня есть одно дело, которое мне необходимо совершить как можно скорее. Я не должна сомневаться, что я — это я. И все же, когда я начинаю думать о той, заточенной в моем зеркале, меня начинает охватывать странное колебание: а что, если подлинная я — там? Тогда я сама, я, думающая

это, я, которая пишу это, я — тень, я — призрак, я — отражение. В меня лишь перелились воспоминания, мысли и чувства той, другой меня, той, настоящей. А в действительности я брошена в глубине зеркала в небытие, томлюсь, изнемогая, умираю. Я знаю, я почти знаю, что это неправда. Но, чтобы рассеять последние облачка сомнений, я должна вновь, еще раз, в последний раз, увидеть то зеркало. Мне надо посмотреть в него еще раз, чтобы убедиться, что там — самозванка, мой враг, игравший мою роль в течение нескольких месяцев. Я увижу это, и все смятение моей души минет, и я буду вновь беспечной, ясной, счастливой. Где это зеркало, где я его найду? Я должна, я должна еще раз заглянуть в его глубь!..

1903



Николай Михайлович Карамзин
Остров Борнгольм



Друзья! Прошло красное лето, златая осень побледнела, зелень увяла, дерева стоят без плодов и без листьев, туманное небо волнуется, как мрачное море, зимний пух сыплется на хладную землю — простимся с природою до радостного весеннего свидания, укроемся от вьюг и метелей — укроемся в тихом кабинете своем! Время не должно тяготить нас: мы знаем лекарство от скуки. Друзья! Дуб и береза пылают в камине нашем — пусть свирепствует ветер и засыпает

окна белым снегом! Сядем вокруг алого огня и будем рассказывать друг другу сказки, и повести, и всякие были.

Вы знаете, что я странствовал в чужих землях, далеко, далеко от моего отечества, далеко от вас, любезных моему сердцу, видел много чудного, слышал много удивительного, многое вам рассказывал, но не мог рассказать всего, что случалось со мною. Слушайте — я повествую — повествую истину, не выдумку.

Англия была крайним пределом моего путешествия. Там сказал я самому себе: «Отечество и друзья ожидают тебя; время успокоиться в их объятиях, время посвятить страннический жезл твой сыну Маину[56], время повесить его на густейшую ветвь того дерева, под которым играл ты в юных летах своих», — сказал и сел в Лондоне на корабль «Британию», чтобы плыть к любезным странам России.

Быстро катились мы на белых парусах вдоль цветущих берегов величественной Темзы. Уже беспредельное море засинелось перед нами, уже слышали мы шум его волнения — но вдруг переменился ветер, и корабль наш, в ожидании

---

[56] Примечания: 56

Во время древности странники, возвращаясь в отечество, посвящали жезлы свои Меркурию. — Прим. автора.

благоприятнейшего времени, должен был остановиться против местечка Гревзенда.

Вместе с капитаном вышел я на берег, гулял с покойным сердцем по зеленым лугам, украшенным природою и трудолюбием, — местам редким и живописным; наконец, утомленный жаром солнечным, лег на траву под столетним вязом близ морского берега и смотрел на влажное пространство, на пенистые валы, которые в бесчисленных рядах из мрачной отдаленности неслися к острову с глухим ревом. Сей унылый шум и вид необозримых вод начинали склонять меня к той дремоте, к тому сладостному бездействию души, в котором все идеи и все чувства останавливаются и цепенеют, подобно вдруг замерзающим ключевым струям, и которое есть самый разительнейший и самый пиитический образ смерти; но вдруг ветви потряслись над моею головою… Я взглянул и увидел молодого человека, худого, бледного, томного, — более привидение, нежели человека. В одной руке держал он гитару, другою срывал листочки с дерева и смотрел на синее море неподвижными черными глазами своими, в которых сиял последний луч угасающей жизни. Взор мой не мог встретиться с его взором: чувства его были мертвы для внеш-

них предметов; он стоял в двух шагах от меня, но не видал ничего, не слыхал ничего. «Несчастный молодой человек! — думал я. — Ты убит роком. Не знаю ни имени, ни рода твоего; но знаю, что ты несчастлив!»

Он вздохнул, поднял глаза к небу, опустил их опять на волны морские — отошел от дерева, сел на траву, заиграл на своей гитаре печальную прелюдию, смотря беспрестанно на море, и запел тихим голосом следующую песню (на датском языке, которому учил меня в Женеве приятель мой доктор NN[57]):

Законы осуждают
Предмет моей любви;
Но кто – о сердце! – может
Противиться тебе?
Какой закон святее
Твоих врожденных чувств?
Какая власть сильнее
Любви и красоты?
Люблю – любить ввек буду.
Кляните страсть мою,

---

[57] Примечания: 57
Доктор NN — Готфрид Беккер. — *Прим. автора.*

Безжалостные души,
Жестокие сердца!
Священная природа!
Твой нежный друг и сын
Невинен пред тобою.
Ты сердце мне дала;
Твои дары благие
Украсили ее —
Природа! Ты хотела,
Чтоб Лилу я любил!
Твой гром гремел над нами,
Но нас не поражал,
Когда мы наслаждались
В объятиях любви.
О Борнгольм, милый Борнгольм!
К тебе душа моя
Стремится беспрестанно;
Но тщетно слезы лью,
Томлюся и вздыхаю!
Навек я удален
Родительскою клятвой
От берегов твоих!

Еще ли ты – о Лила! —
Живешь в тоске своей?
Или в волнах шумящих
Скончала злую жизнь?
Явися мне, явися,
Любезнейшая тень!
Я сам в волнах шумящих
С тобою погребусь.

Тут, по невольному внутреннему движению, хотел я броситься к незнакомцу и прижать его к сердцу своему, но капитан мой в самую сию минуту взял меня за руку и сказал, что благоприятный ветер развевает наши парусы и что нам не должно терять времени.

Мы поплыли. Молодой человек, бросив гитару и сложив руки, смотрел вслед за нами — смотрел на синее море.

Волны пенились под рулем корабля нашего, берег гревзендский скрылся в отдалении, северные провинции Англии чернелись на другом краю горизонта — наконец все исчезло, и птицы, которые долго вились над нами, полетели назад к берегу, как будто бы устрашенные необозримостию моря. Волнение шумных вод и туманное

небо остались единственным предметом глаз наших, предметом величественным и страшным. Друзья мои! Чтобы живо чувствовать всю дерзость человеческого духа, надобно быть на открытом море, где *одна тонкая дощечка,* как говорит Виланд, *отделяет нас от влажной смерти,* но где искусный пловец, распуская парусы, летит и в мыслях своих видит уже блеск золота, которым в другой части мира наградится смелая его предприимчивость. «Nil mortalibus arduum est» («Нет для смертных невозможного»), — думал я с Горацием, теряясь взором в бесконечности Нептунова царства.

Но скоро жестокий припадок морской болезни лишил меня чувства. Шесть дней глаза мои не открывались, и томное сердце, орошаемое пеною бурных волн[58], едва билось в груди моей. В седьмой день я ожил и хотя с бледным, но радостным лицом вышел на палубу. Солнце по чистому лазоревому своду катилось уже к западу, море, освещаемое златыми его лучами, шумело, корабль летел на всех парусах по грудам рассекаемых валов, которые тщетно силились опередить его. Вокруг нас в разном отдалении развевались

[58] Примечания: 58

В самом деле, пена волн часто орошала меня, лежащего почти без памяти на палубе. — *Прим. автора.*

белые, голубые и розовые флаги, а на правой стороне чернелось нечто подобное земле.

«Где мы?» — спросил я у капитана. «Плавание наше благополучно, — сказал он, — мы прошли Зунд; берега Швеции скрылись от глаз наших. На правой стороне видите вы датский остров Борнгольм, место опасное для кораблей; там мели и камни таятся на дне морском. Когда наступит ночь, мы бросим якорь».

«Остров Борнгольм, остров Борнгольм!» — повторил я в мыслях, и образ молодого гревзендского незнакомца оживился в душе моей. Печальные звуки и слова песни его отозвались в моем слухе. «Они заключают в себе тайну сердца его, — думал я, — но кто он? Какие законы осуждают любовь несчастного? Какая клятва удалила его от берегов Борнгольма, столь ему милого? Узнаю ли когда-нибудь его историю?»

Между тем сильный ветер нес нас прямо к острову. Уже открылись грозные скалы его, откуда с глумом и пеною свергались кипящие ручьи во глубину морскую. Он казался со всех сторон неприступным, со всех сторон огражденным рукою величественной натуры; ничего, кроме страшного, не представлялось на седых утесах. С ужасом видел я там образ хладной, безмолв-

ной вечности, образ неумолимой смерти и того неописанного творческого могущества, перед которым все смертное трепетать должно.

Солнце погрузилось в волны — и мы бросили якорь. Ветер утих, и море едва-едва колебалось. Я смотрел на остров, который неизъяснимою силою влек меня к берегам своим; темное предчувствие говорило мне: «Там можешь удовлетворить своему любопытству, и Борнгольм останется навеки в твоей памяти!» Наконец, узнав, что недалеко от берега есть рыбачьи хижины, решился я просить у капитана шлюпки и ехать на остров с двумя или тремя матросами. Он говорил об опасности, о подводных камнях, но, видя непреклонность своего пассажира, согласился исполнить мое требование с тем условием, чтобы я на другой день рано поутру на корабль возвратился.

Мы поплыли и благополучно пристали к берегу в небольшом тихом заливе. Тут встретили нас рыбаки, люди грубые и дикие, выросшие на хладной стихии, под шумом валов морских и незнакомые с улыбкою дружелюбного приветствия; впрочем, не хитрые и не злые люди. Услышав, что мы желаем посмотреть острова и ночевать в их хижинах, они привязали нашу лодку и повели нас сквозь распавшуюся кремнистую гору к своим

жилищам. Через полчаса вышли мы на пространную зеленую равнину, где, подобно как на долинах альпийских, рассеяны были низенькие деревянные домики, рощицы и громады камней. Тут оставил я своих матросов, а сам пошел далее, чтобы наслаждаться еще несколько времени приятностями вечера; мальчик лет тринадцати был проводником моим.

Алая заря не угасла еще на светлом небе, розовый свет ее сыпался на белые граниты и вдали, за высоким холмом, освещал острые башни древнего замка. Мальчик не мог сказать мне, кому принадлежал сей замок. «Мы туда не ходим, — говорил он, — и Бог знает, что там делается!» Я удвоил шаги свои и скоро приближился к большому готическому зданию, окруженному глубоким рвом и высокою стеною. Везде царствовала тишина, вдали шумело море, последний луч вечернего света угасал на медных шпицах башен.

Я обошел вокруг замка — ворота были заперты, мосты подняты. Проводник мой боялся, сам не зная чего, и просил меня идти назад к хижинам, но мог ли любопытный человек уважить такую просьбу?

Наступила ночь, и вдруг раздался голос — эхо повторило его, и опять все умолкло. Мальчик от

страха схватил меня обеими руками и дрожал, как преступник в час казни. Через минуту снова раздался голос — спрашивали: «Кто там?» — «Чужеземец, — сказал я, — приведенный любопытством на сей остров, и если гостеприимство почитается добродетелию в стенах вашего замка, то вы укроете странника на темное время ночи». Ответа не было, но через несколько минут загремел и опустился с верху башни подъемный мост, с шумом отворились ворота — высокий человек в длинном черном платье встретил меня, взял за руку и повел в замок. Я оборотился назад, но мальчик, провожатый мой, скрылся.

Ворота хлопнули за нами, мост загремел и поднялся. Через обширный двор, заросший кустарником, крапивою и полынью, пришли мы к огромному дому, в котором светился огонь. Высокий перистиль в древнем вкусе вел к железному крыльцу, которого ступени звучали под ногами нашими. Везде было мрачно и пусто. В первой зале, окруженной внутри готическою колоннадою, висела лампада и едва-едва изливала бледный свет на ряды позлащенных столпов, которые от древности начинали разрушаться; в одном месте лежали части карниза, в другом отломки пиластров, в третьем целые упавшие колонны.

Путеводитель мой несколько раз взглядывал на меня проницательными глазами, но не говорил ни слова.

Все сие сделало в сердце моем странное впечатление, смешанное отчасти с ужасом, отчасти с тайным неизъяснимым удовольствием или, лучше сказать, с приятным ожиданием чего-то чрезвычайного.

Мы прошли еще через две или три залы, подобные первой и освещенные такими же лампадами. Потом отворилась дверь направо — в углу небольшой комнаты сидел почтенный седовласый старец, облокотившись на стол, где горели две белые восковые свечи. Он поднял голову, взглянул на меня с какою-то печальною ласкою, подал мне слабую свою руку и сказал тихим, приятным голосом: «Хотя вечная горесть обитает в стенах здешнего замка, но странник, требующий гостеприимства, всегда найдет в нем мирное пристанище. Чужеземец! Я не знаю тебя, но ты человек — в умирающем сердце моем жива еще любовь к людям — мой дом, мои объятия тебе отверсты». Он обнял, посадил меня и, стараясь развеселить мрачный вид свой, уподоблялся хотя ясному, но хладному осеннему дню, который напоминает более горестную зиму, нежели ра-

достное лето. Ему хотелось быть приветливым — хотелось улыбкою вселить в меня доверенность и приятные чувства дружелюбия, но знаки сердечной печали, углубившиеся на лице его, не могли исчезнуть в одну минуту.

«Ты должен, молодой человек, — сказал он, — ты должен известить меня о происшествиях света, мною оставленного, но еще не совсем забытого. Давно живу я в уединении, давно не слышу ничего о судьбе людей. Скажи мне, царствует ли любовь на земном шаре? Курится ли фимиам на алтарях добродетели? Благоденствуют ли народы в странах, тобою виденных?» — «Свет наук, — отвечал я, — распространяется более и более, но еще струится на земле кровь человеческая — льются слезы несчастных — хвалят имя добродетели и спорят о существе ее». Старец вздохнул и пожал плечами.

Узнав, что я россиянин, сказал он: «Мы происходим от одного народа с вашим. Древние жители островов Рюгена и Борнгольма были славяне. Но вы прежде нас озарились светом христианства. Уже великолепные храмы, единому Богу посвященные, возносились к облакам в странах ваших, но мы, во мраке идолопоклонства, приносили кровавые жертвы бесчувственным истуканам.

Уже в торжественных гимнах славили вы великого творца вселенной, но мы, ослепленные заблуждением, хвалили в нестройных песнях идолов баснословия». Старец говорил со мною об истории северных народов, о происшествиях древности и новых времен, говорил так, что я должен был удивляться уму его, знаниям и даже красноречию.

Через полчаса он встал и пожелал мне доброй ночи. Слуга в черном платье, взяв со стола одну свечу, повел меня через длинные узкие переходы — и мы вошли в большую комнату, обвешанную древним оружием, мечами, копьями, латами и шишаками. В углу, под золотым балдахином, стояла высокая кровать, украшенная резьбою и древними барельефами.

Мне хотелось предложить множество вопросов сему человеку, но он, не дожидаясь их, поклонился и ушел; железная дверь хлопнула — звук страшно раздался в пустых стенах — и все утихло. Я лег на постелю — смотрел на древнее оружие, освещаемое сквозь маленькое окно слабым лучом месяца, думал о своем хозяине, о первых словах его: «Здесь обитает вечная горесть» — мечтал о временах прошедших, о тех приключениях, которым сей древний замок бывал свидетелем, —

мечтал, подобно такому человеку, который между гробов и могил взирает на прах умерших и оживляет его в своем воображении. Наконец образ печального гревзендского незнакомца представился душе моей, и я заснул.

Но сон мой не был покоен. Мне казалось, что все латы, висевшие на стене, превратились в рыцарей, что сии рыцари приближались ко мне с обнаженными мечами и с гневным лицом говорили: «Несчастный! Как дерзнул ты пристать к нашему острову? Разве не бледнеют плаватели при виде гранитных берегов его? Как дерзнул ты войти в страшное святилище замка? Разве ужас его не гремит во всех окрестностях? Разве странник не удаляется от грозных его башен? Дерзкий! Умри за сие пагубное любопытство!» Мечи застучали надо мною, удары сыпались на грудь мою, но вдруг все скрылось — я пробудился и через минуту опять заснул. Тут новая мечта возмутила дух мой. Мне казалось, что страшный гром раздавался в замке, железные двери стучали, окна тряслися, пол колебался, и ужасное крылатое чудовище, которое описать не умею, с ревом и свистом летело к моей постели. Сновидение исчезло, но я не мог уже спать, чувствовал нужду в свежем воздухе, приближился к окну,

увидел подле него маленькую дверь, отворил ее и по крутой лестнице сошел в сад.

Ночь была ясная, свет полной луны осребрял темную зелень на древних дубах и вязах, которые составляли густую, длинную аллею. Шум морских волн соединялся с шумом листьев, потрясаемых ветром. Вдали белелись каменные горы, которые, подобно зубчатой стене, окружают остров Борнгольм; между ими и стенами замка виден был с одной стороны большой лес, а с другой — открытая равнина и маленькие рощицы.

Сердце все еще билось у меня от страшных сновидений, и кровь моя не переставала волноваться. Я вступил в темную аллею, под кров шумящих дубов, и с некоторым благоговением углублялся во мрак ее. Мысль о друидах возбудилась в душе моей — и мне казалось, что я приближаюсь к тому святилищу, где хранятся все таинства и все ужасы их богослужения. Наконец сия длинная аллея привела меня к розмаринным кустам, за коими возвышался песчаный холм. Мне хотелось взойти на вершину его, чтобы оттуда при свете ясной луны взглянуть на картину моря и острова, но тут представилось глазам моим отверстие во внутренность холма; человек с трудом мог войти в него. Непреодолимое любопытство влек-

ло меня в сию пещеру, которая походила более на дело рук человеческих, нежели на произведение дикой натуры. Я вошел — почувствовал сырость и холод, но решился идти далее и, сделав шагов десять вперед, рассмотрел несколько ступеней вниз и широкую железную дверь; она, к моему удивлению, была не заперта. Как будто бы невольным образом рука моя отворила ее — тут за железною решеткою, на которой висел большой замок, горела лампада, привязанная ко своду, а в углу, на соломенной постеле, лежала молодая бледная женщина в черном платье. Она спала; русые волосы, с которыми переплелись желтые соломинки, закрывали высокую грудь ее, едва-едва дышащую; одна рука, белая, но иссохшая, лежала на земле, а на другой покоилась голова спящей. Если бы живописец хотел изобразить томную, бесконечную, всегдашнюю скорбь, осыпанную маковыми цветами Морфея, то сия женщина могла бы служить прекрасным образцом для кисти его.

Друзья мои! Кого не трогает вид несчастного! Но вид молодой женщины, страдающей в подземной темнице, — вид слабейшего и любезнейшего из всех существ, угнетенного судьбою, — мог бы влить чувство в самый камень. Я смотрел на нее

с горестию и думал сам в себе: «Какая варварская рука лишила тебя дневного света? Неужели за какое-нибудь тяжкое преступление? Но миловидное лицо твое, но тихое движение груди твоей, но собственное сердце мое уверяют меня в твоей невинности!»

В самую сию минуту она проснулась — взглянула на решетку — увидела меня — изумилась — подняла голову — встала — приближилась — потупила глаза в землю, как будто бы собираясь с мыслями, — снова устремила их на меня, хотела говорить и — не начинала.

«Если чувствительность странника, — сказал я через несколько минут молчания, — рукою судьбы приведенного в здешний замок и в эту пещеру, может облегчить твою участь, если искреннее его сострадание заслуживает твою доверенность, требуй его помощи!» Она смотрела на меня неподвижными глазами, в которых видно было удивление, некоторое любопытство, нерешимость и сомнение. Наконец, после сильного внутреннего движения, которое как будто бы электрическим ударом потрясло грудь ее, отвечала твердым голосом: «Кто бы ты ни был, каким бы случаем ни зашел сюда, чужеземец, я не могу требовать от тебя ничего, кроме сожа-

ления. Не в твоих силах переменить долю мою. Я лобызаю руку, которая меня наказывает». — «Но сердце твое невинно? — сказал я. — Оно, конечно, не заслуживает такого жестокого наказания?» — «Сердце мое, — отвечала она, — могло быть в заблуждении. Бог простит слабую. Надеюсь, что жизнь моя скоро кончится. Оставь меня, незнакомец!» Тут приближилась она к решетке, взглянула на меня с ласкою и тихим голосом повторила: «Ради Бога, оставь меня!.. Если он сам послал тебя — тот, которого страшное проклятие гремит всегда в моем слухе, — скажи ему, что я страдаю, страдаю день и ночь, что сердце мое высохло от горести, что слезы не облегчают уже тоски моей. Скажи, что я без ропота, без жалоб сношу заключение, что я умру его нежною, несчастною…» Она вдруг замолчала, задумалась, удалилась от решетки, стала на колени и закрыла руками лицо свое, через минуту посмотрела на меня, снова потупила глаза в землю и сказала с нежною робостию: «Ты, может быть, знаешь мою историю, но если не знаешь, то не спрашивай меня — ради Бога, не спрашивай!.. Чужеземец, прости!» Я хотел идти, сказав ей несколько слов, излившихся прямо из души моей, но взор мой еще встретился с ее взором — и мне показалось,

что она хочет узнать от меня нечто важное для своего сердца. Я остановился — ждал вопроса, но он, после глубокого вздоха, умер на бледных устах ее. Мы расстались.

Вышедши из пещеры, не хотел я затворить железной двери, чтобы свежий, чистый воздух сквозь решетку проник в темницу и облегчил дыхание несчастной. Заря алела на небе, птички пробудились, ветерок свевал росу с кустов и цветочков, которые росли вокруг песчаного холма. «Боже мой! — думал я. — Боже мой! Как горестно быть исключенным из общества живых, вольных, радостных тварей, которыми везде населены необозримые пространства натуры! В самом севере, среди высоких мшистых скал, ужасных для взора, творение руки твоей прекрасно — творение руки твоей восхищает дух и сердце. И здесь, где пенистые волны от начала мира сражаются с гранитными утесами, — и здесь десница твоя напечатлела живые знаки творческой любви и благости, и здесь в час утра розы цветут на лазоревом небе, и здесь нежные зефиры дышат ароматами, и здесь зеленые ковры расстилаются, как мягкий бархат, под ногами человека, и здесь поют птички — поют весело для веселого, печально для печального, приятно

для всякого, и здесь скорбящее сердце в объятиях чувствительной природы может облегчиться от бремени своих горестей! Но — бедная, заключенная в темнице, не имеет сего утешения: роса утренняя не окропляет ее томного сердца, ветерок не освежает истлевшей груди, лучи солнечные не озаряют помраченных глаз ее, тихие бальзамические излияния луны не питают души ее кроткими сновидениями и приятными мечтами. Творец! Почто даровал ты людям гибельную власть делать несчастными друг друга и самих себя?» Силы мои ослабели, и глаза закрылись под ветвями высокого дуба, на мягкой зелени.

Сон мой продолжался около двух часов.

«Дверь была отворена; чужестранец входил в пещеру», — вот что услышал я, проснувшись, — открыл глаза и увидел старца, хозяина своего; он сидел в задумчивости на дерновой лавке, шагах в пяти от меня; подле него стоял тот человек, который ввел меня в замок. Я подошел к ним. Старец взглянул на меня с некоторою суровостию, встал, пожал мою руку — и вид его сделался ласковее. Мы вошли вместе в густую аллею, не говоря ни слова. Казалось, что он в душе своей колебался и был в нерешимости, но вдруг остановился и, устремив на меня проницательный, огненный

взор, спросил твердым голосом: «Ты видел ее?» — «Видел, — отвечал я, — видел, не узнав, кто она и за что страдает в темнице». — «Узнаешь, — сказал он, — узнаешь, молодой человек, и сердце твое обольется кровию. Тогда спросишь у самого себя: за что небо излияло всю чашу гнева своего на сего слабого, седого старца, старца, который любил добродетель, который чтил святые законы его?» Мы сели под деревом, и старец рассказал мне ужаснейшую историю — историю, которой вы теперь не услышите, друзья мои; она остается до другого времени. На сей раз скажу вам одно то, что я узнал тайну гревзендского незнакомца — тайну страшную!

Матросы дожидались меня у ворот замка. Мы возвратились на корабль, подняли парусы, и Борнгольм скрылся от глаз наших.

Море шумело. В горестной задумчивости стоял я на палубе, взявшись рукою за мачту. Вздохи теснили грудь мою — наконец я взглянул на небо — и ветер свеял в море слезу мою.

1793



Владимир Фёдорович Одоевский
Саламандра



В сей повести читатели найдут опыт рассказа, основанного большею частию на финских поверьях. Гроту, переводчику тегнеровой «Саги о Фритиофе», с такою пользою посвятившему труды свои Финляндии, мы обязаны нежданным и в высшей степени любопытным открытием драгоценных подробностей о характере и преданиях финнов, столь разительно отличающихся от преданий всех других народов (см. «Современник», 1839–1840). О финнах нельзя

судить, не проникнувши внутрь их страны и не познакомясь с их семейным бытом. Врожденная страсть к чудесному соединяется в них с сильным поэтическим элементом и с полудикою привязанностью к своей земле. Вообще финны добры, терпеливы, покорны властям, привязаны к своим обязанностям, но недоверчивы и столько хитры, что, увидев незнакомца, до случая умеют притворяться, будто его не понимают; однажды раздраженные, они не знают пределов своей мстительности. Они живут не в селениях, но уединенно в хижинах, разбросанных между гранитных скал; редко сообщаются не только с другими людьми, но и между собою; оттого известия о всем происходящем в мире до них доходят в виде искаженных слухов; в каждой хижине этот слух дополняется каким-либо чудесным рассказом (ибо финны большие рассказчики), и так мало-помалу происшествие, вчера случившееся, у них обращается в баснословное предание: явление любопытное, объясняющее до некоторой степени, каким образом образовались древние мифы. Вообще финнов можно назвать народом древности, перенесенным в нашу эпоху. Ленрот, отличный финский поэт, бродя по всем краям своей отчизны, собрал народные песни,

никем до того не записанные; пересматривая их, он заметил между ними некоторую связь; при дальнейшем исследовании Ленрот открыл, что эти народные песни суть части целой стройной поэмы, и тем доставил новое доказательство для последователей Вольфовых мнений о происхождении «Илиады». Предания о происшествиях времен Петра и Карла XII еще живы в памяти финнов, но превратились в баснословное предание. Жизнь, близкая к природе, научила их знать свойства трав и кореньев; им известны даже таинства животного магнетизма; все это играет у них роль колдовства: послушайте рассказы о нем русских крестьян, поселившихся в Финляндии. Из письма финского крестьянина к императору Александру (Грот — в «Современнике») можно видеть, как охотно финны любят рассуждать обо всем, о чем только узнают, и с какой точки зрения смотрят они на предметы. Вообще быт, предания, поверья сего народа в высшей степени заслуживают внимания и суть неоцененное сокровище для литературных произведений.

I
Южный берег Финляндии в начале XVIII столетия

Посв. графине Эмилии К-е Мусиной-Пушкиной

— Гина, прибрось еще дров в печку. Даром что лето, а тепла еще нет, или уж я от старости тепла не чую.

Гина встала, бросила в очаг несколько сосновых поленьев; сильно запылала смолистая кора и обдала всю хижину живым, веселым светом; старушка вздохнула.

— Вот, — сказала она, — когда был у нас Павали, не носила я дров; а теперь уж и дрова на исходе. Кто-то их нам перетащит в избу?

И старушка пригорюнилась.

— Ничего, еще придет, натаскает дров и лучины наколет к Рождеству, — произнес старик нетвердым голосом, как бы сам не доверяя словам своим.

И она замолкла. Между тем из-за кучи хвороста вышел мальчик лет 12, приемыш бедного финна, и весело тащил за собою маленькую Эль-

су, внучку стариков. Но Эльса не хотела идти к печке и вырывалась у него из рук; Якко дразнил ее и громко смеялся, но, увидя печальный вид старика, примолкнут и спокойно уселся на полу против огня.

Избушка, в которой происходила эта небольшая сцена, была построена на самом берегу Вуоксы. Теперь берега Вуоксы выглажены, разряжены, по скалам тянется ровная дорожка с перилами; беседки в безвкусном английском роде, хорошо выбеленные, ожидают праздных путешественников; но и теперь, как прежде, ужас находит на человека, когда он осмеливается заглянуть в страшную клокочущую бездну. Река Вуокса тиха и спокойна в своем течении; но беспрестанно скалы то ложатся поперек нее, то сжимают ее узкими берегами, и река кипит, бурлит, рвется к родному морю, ползет на утесы, бросает в воздух глыбами белой пены, подмывает огромные сосны; сосны падают в пучину, чрез минуту за версту от порога Вуокса прибивает к берегу дребезги огромного дерева — и снова течет тихо и спокойно. Она похожа на доброго человека, которого судьба раздражает на каждом шагу жизни: гневно и сильно борется он с судьбою, но после борьбы все затихает в душе его, и снова светится

в ней ясное солнце.

За 130 лет на Иматре не было ни дорожек, ни беседок; праздные петербургские пришельцы не обращали себе в забаву грозной силы природы; она была во всем своем девственном величии; но и тогда, как теперь, между порогов скользила ладья рыболова; отважный, он вверялся родной реке и спокойно закидывал сети между клокочущими безднами. На берегу к двум утесам была прислонена финская избушка; между каменьями, подернутыми желтым мохом, пробирались корни деревьев, а ветви их сплетались над кровлею, усаженною зеленым дерном; избушка была темна; четвероугольная печь с вечно пылающими дровами, несколько обрубков сосен, куча хвороста, служившая постелью, на стене кантела, народный финский инструмент, похожий на лежачую арфу с волосяными струнами, — вот все, чем украшалось бедное жилище рыболова.

Ветер свистал в волоковое окно, некрепко припертое, иногда пробегал по струнам кантелы, и струны печально, нестройно звучали; когда утихал ветер, тогда слышался гул порогов; тряслись стены старой избушки, дверь, скрипя, поворачивалась на вереях; искры сыпались из печи, дым облаком выносило из устья; по временам

сильный порывистый дождь прорывался сквозь кровлю и брызгами обдавал жителей, но они, казалось, привыкли ко всему этому и не обращали ни на что внимания.

Так протекло довольно долгое время в совершенном молчании; лишь изредка Якко поворачивал глаза к старику, как будто хотел о чем-то спросить его, но боялся, или беззаботно бросал свежие ветки сосны в огонь и с детским любопытством смотрел, как мало-помалу в золотистых искрах истлевали зеленые смолистые иглы. Наконец Гина встала, достала с шеста несколько кружков древесной коры, подбеленных мукою, сняла с печки деревянную чашу с кислым молоком, и вся семья принялась за скудный ужин. Одна Эльса, получив свою долю, ушла снова за хворост.

В эту минуту Якко, поглядев пристально на старика, сказал: «Давно я хотел спросить тебя, дедушка: куда ушел наш Павали?»

— Куда, — отвечал старик, — разве ты не видел, как его солдаты увели?

— Да куда ж они его увели?

— Куда? На войну с вейнелейсами[59].

---

[59] Примечания: 59

Так финны в старину называли русских. (*Здесь и далее: прим. В. Ф. Одоевского.*)

— А что такое война, дедушка?

— А вот видишь, Якко, с одной стороны приходят рутцы[60], а с другой вейнелейсы и спорят о том, кому достанется наша земля.

— Да нам-то что до этого за дело? — заметила Гина. — Пусть бы дрались между собою, а нас бы не обижали; ну, зачем они увели нашего Павали? На что он им?

— Да вишь, им нужны проводники — дорогу показывать.

— Дорогу показывать? — сказала Гина. — Да что нам до этого? Как нам жить без Павали? И дров наносить некому, и коры некому намолоть.

— А вот придет, — повторил старик неверным голосом.

Якко обратил снова к старику свои быстрые, вопрошающие глаза.

— Помнишь, дедушка, об Рождестве, ты, подыгрывая на кантеле, распевал нам об нашей земле и о том, как о ней спорят калевы с пахиолами; это они-то и есть, что теперь спорят? Я тогда не понял всего; расскажи-ка еще, дедушка.

— Нет! То было в старину, а то теперь, — отвечал старик вздохнувши.

---

[60] Примечания: 60
Старинное название шведов в Финляндии.

— Да на что им наша земля? — сказала Гина. — Разве нет у них своей?

Старик не отвечал, печально наклонил голову, седые локоны нависли на его бледные морщины, он сложил руки на коленях и, качая головою, стал говорить, как будто самому себе:

ФИНСКАЯ ЛЕГЕНДА

Нет на свете земли краше нашей Суомии; у нас и море широкое, и озера глубокие, и сосны вечнозеленые; и в других землях также есть солнце, да оно покажется, посветит и спрячется, как у нас зимой. А наше солнце полгода отдыхает, зато полгода светит, и на полях наших едва уляжется роса вечерняя, как поднимается роса утренняя. Но в старину было еще лучше: было у нас чудное сокровище Сампо[61] — пестрое, из разноцветных каменьев и с такою крышей, что теперь всем ковачам не сковать. Тогда-то был рай земной в Суомии; ничего люди не делали, все делало Сампо: и дрова носило, и дома строило, и кору на хлеб мололо, и молоко доило, и струны на кантелу навязывало, и песни пело, а люди только лежали перед огнем, да с боку на бок по-

[61] Примечания: 61
Род финского Аполлона.

ворачивались; всего было в изобилии; но когда Вейнемейнен рассердился на нас, Сампо ушло в землю и заплыло камнем, а на земле осталась только кантела. Тогда люди были не такие, как теперь, а великорослые, сильные. Они хотели разбить камень, трудились долго, но не дошли до Сампо, а только навалили груды каменьев на нашу землю. С тех пор проведали и другие люди, что в нашей земле есть такое сокровище; сперва рутцы, а потом и вейнелейсы; вот они и спорят с тех пор, кому достанется Сампо. У народа рутцы есть король, а у вейнелейсов царь. Оба они великие тиетаи[62]. Они ведают, как добыть сокровище из земли, но один другому уступить его не хочет. Давно уж они готовились завладеть им. Уж чего не знает наш тиетай Кукари? Он видит все, из чего что произошло, откуда и железо, и бурелом, и все силы земные, но перед царем и королем меркнет и его ум чудодейный. Царь, видно, сильнее короля, ибо знает, как он родился. Едва вышел король из материнского чрева, как топнул ногою об землю и сказал: что Юмала дал, того у меня Пергола не отнимет. И пошел он по земле с железным мечом; куда ни придет, махнет

[62] Примечания: 62
Мудрецы, маги.

мечом, все люди вокруг него умирают; и такова его мудрость, что никто еще не видал, чтоб он ел или пил, а спит он одним только глазом, другим же все смотрит и в небо, и в землю, и все видит, что и как от чего происходит; одного только не видал он, как произошел царь вейнелейсов. Говорят, что вышел он прямо из моря. Была сильная буря, волны землю подмывали, корабли тонули, скалы с берегов падали в море. Король сидел на берегу, помахивал железным мечом и приказывал скалам подыматься из моря, но скалы не слушались; король рассердился, море пуще взбушевало; как вдруг расступилось, и из воды вышел царь вейнелейсов; одною рукою он приподнял скалы, а другою повел вокруг себя и сказал: все мое, что ни вижу. Король и пуще рассердился и бросил в царя железом; царь отвечал ему тем же. Тогда король бросил в него серою и селитрою. У царя же не было ни серы, ни селитры. Бой стал неровный. Царь собрал своих вейнелейсов и стал с ними ходить по белому свету; перешел он и за полудесятое море, там где небо к земле прислонилось. Придет в одно место, ударит железом по земле, скажет: копайте, и из земли выйдет железо. В другом месте ударит, выйдут из земли сера и селитра; в третьем — разные сокровища. Но все

он не дорылся до Сампо, потому что Сампо только в нашей Суомии. Что ни собрал царь, все принес в свою землю. Но он так долго ходил по белому свету, что на его земле все люди постарели, у всех отросли длинные бороды. Царь рассердился. «Хочу, — сказал он вейнелейсам, — чтоб все помолодели, потому что нужны мне люди молодые и сильные». И такова была его мудрость, что от одного его слова все вейнелейсы помолодели: сделались они здоровы и сильны, и бороды у них отпали. Тогда царь велел вейнелейсам ковать оружие против врага своего, короля рутцов. Три дня усердно помогают царю рабы, на плечах у них пыль в сажень толщиной, на голове сажа в аршин, на всем теле густой слой копоти. Но про то узнала сестра царева. Приходит, смотрит и молвит: «Много ты, братец, навел ковачей из-за полудесятого моря; вели мне сковать царское ожерелье, чтоб все почитали меня царицей; да вели мне выковать месяц из серебра и солнце из золота, чтоб они ходили вокруг меня и днем и ночью светили. Не выкуешь, братец, злые слова пошлю на тебя». Рассердился царь, услышав такие речи. «Нет царя, — сказал он, — кроме меня; есть у меня царское ожерелье, да не для тебя; есть месяц и солнце, да не тебе они светят». Царская

сестра пригорюнилась и с досады стала гребнем чесать свои черные волосы; волосы падали на землю, и от каждого выросло ядовитое зелье. Потом разломала она свой гребень на части, и из каждого зубца вышел великан с луком и стрелами. Узнал об этом и король рутцов, и Турка, вечный враг всех христиан. И сошлись они вместе и напали на мудрого ковача. Увидевши это, ковач ударил молотом по наковальне, и от одного стука рассыпались в прах великаны; он ударил в другой раз — от наковальни отскочили куски железа и засыпали Турку; ковач ударил в третий раз — от наковальни брызнули искры, зажгли серу и селитру и опалили короля рутцов. Король бросился в море, чтоб затушить огонь; царь за ним — приходит к морю, а король уже за морем; царь гнаться — смотрит, нет корабля, вокруг него только песок морской, да голые камни, да топь, да болота. Царь собрал своих вейнелейсов и говорит им: «Постройте мне город, где бы мне жить было можно, пока я корабль построю». И стали строить город, но что положат камень, то всосет болото; много уже камней навалили, скалу на скалу, бревно на бревно, но болото все в себя принимает и наверху земли одна топь остается. Между тем царь состроил корабль, оглянулся: смотрит, нет

еще его города. «Ничего вы не умеете делать», — сказал он своим людям и с сим словом начал поднимать скалу за скалою и ковать на воздухе. Так выстроил он целый город и опустил его на землю. Между тем король на другом берегу ходит и думает: что такое царь затевает? Встречает его месяц. Король кланяется месяцу: «Ах, месяц Божий, не видал ли ты, что делает царь вейнелейсов?» Но месяц ему не отвечает. Короля встречает солнце; он кланяется солнцу: «Ах, солнце Божие, не видало ли ты, что делает царь вейнелейсов?» Но и солнце ему не отвечает. Король встречает море, он кланяется морю: «Ах, море Божие, не видало ли ты, что делает царь вейнелейсов?»

Море, наконец, ему отвечало: «Знаю, что он делает, — он землю сушит, волны гонит в мое сердце; тесно мне становится в моих берегах, как тебе, королю, в твоем королевстве». — «Нападем же на него, — сказал король, — авось просторнее будет нам на белом свете». И согласились они, и пошли на царя войною. Король приготовил серу и раскаленные уголья, а море взбушевало, вылилось из берегов и всползло на кровли нового города. Царь отдыхал тогда после дневной работы, проснулся, видит: хочет море залить его! Сильно ударил он жезлом по морю, и море смути-

лось, быстро потекло в берега и только в страхе обмывало царские ноги. «Неси мои корабли!» — вскричал царь грозным голосом, и море приняло их на свои влажные плечи. «Застынь», — сказал царь, и море подернулось льдом серебристым. «Дуй, буря, в мои паруса», — сказал царь, и корабли покатились по скользкому льду. Король между тем, видя, что море застыло, смотрит и радуется. «Победило море, — говорит, — и затянуло вейнелейсов под своей льдиной». Еще смотрит он, чернеет что-то по белому снегу, ближе… ближе… Горе!.. То летят корабли вейнелейсов; тщетно заклинает их король, тщетно обсыпает красным угольем, с кораблей дышит бурный ветер, свивает в облако горючую серу и палит короля и всю землю рутцийскую. Испугался король и побежал к Турку просить подмоги. Но такова его мудрость, что он и у Турка за морями, и у нас на берегу в одно время. Чем-то кончится эта кровавая битва? Кому достанется земля наша? Кому достанется наше сокровище Сампо?

Старик умолк, старуха давно уж дремала, Эльса изредка выглядывала из-за хвороста и опять пряталась. Лишь Якко, устремив блистающие глаза на старика, казалось, боялся проронить слово.

Старик не обращал внимания на своих слу-

шателей; его речь овладела им совершенно; слова невольно лились одно за другим; он сам с любопытством слушал рассказ свой и боялся прервать его.

— Кукари говорил мне, — продолжал он после некоторого молчания, — что с некоторого времени ему чудятся странные сны: видит он, как поднимаются с суомийских берегов огромные скалы, переплывают под ноги царя вейнелейсов, и все он поднимается выше и выше, и на громаду скал взбегают суомийцы, и царь вейнелейсов прикрывает их своей огромною рукою. То чудится ему, что на береге моря скалы разрываются с треском, а из них выходит огромный блестящий город; там собираются тиетаи со всех сторон света и громким голосом ведут мудрые речи со всеми людьми суомийскими. И над городом опять царь вейнелейсов в золотом венце; его носят облака небесные, с венца его на Суомию падают златистые искры и светят, как тысяча солнц. Чудно! Чудно!

Старик призадумался. Все затихло в бедной избушке, лишь ветер свистел в волоковое окошко и печально пробегал по струнам кантелы; шумели пороги, дождь прорывался сквозь кровлю; длинные тени от очага то являлись, то исчезали

по закопченным бревнам избушки.

Вдруг Гина вздрогнула. «Что это? Гром?» — вскричала она.

В самом деле, средь гула порогов послышались громовые раскаты; еще, еще — наконец удар следовал за ударом.

— Нет, Гина, — сказал старик, прислушавшись, — это не гром, это пушки. Гина, война и до нас дошла.

— Где-то теперь наш Павали? Как стоит он под пушкой, ведь убьет его.

Старик молчал и не мог скрыть своего беспокойства.

— Вот еще, еще… Слышишь, муж… Ах, скажи мне, где наш Павали?

Старик молчал; седые его волосы рассыпались по бледным морщинам, глаза не двигались; что-то мрачное в них отражалось.

Гина зарыдала.

— Слушай, Руси, — сказала она, — я ведь знаю, ты сам тиетай, ты с живой руки можешь видеть сам все, что хочешь…

Старик сердито посмотрел на Гину.

— Не сердись на меня, я твоя верная, покорная жена; я сорок лет знала твою тайну и никогда даже тебе не говорила об этом… Но теперь — чего

тебе стоит? Узнай, узнай, где наш Павали… Ты сам будешь спокойнее…

Старик встал и стал ходить по избушке, качая головой с видом нерешимости. Между тем пушечные выстрелы становились чаще и чаще и, казалось, приближались. Гина вскрикивала при каждом ударе и дрожала всем телом.

После некоторого времени старик откинул свои седые локоны и сказал: «Быть так! Полно плакать, может, узнаем, где наш Павали. Ну, да полно же плакать, говорят тебе!»

Старуха в минуту затихла и только смотрела на вещуна умоляющими глазами.

Старик продолжал: «Только смотри же, Гина, ступай на печь и не смей оборачиваться, а не то и тебе, и мне худо будет. Якко, ступай в хворост, зажмурь глаза и лежи смирно, пока я не позову тебя».

Все немедленно было исполнено по приказанию старика. Тогда он призадумался, повел по лицу рукою и сказал мрачным голосом: «Эльса, поди сюда».

Эльса упрямилась и не хотела идти из-под хвороста. Старик повторил свое приказание, и Эльса выползла из-под хвороста, приблизилась к старику, но жалась к стене и трепетала.

Почти силою старик подвел ее к огню и посадил на обрубок. Едва лицо бедного дитяти стало краснеть от действия жара, как она еще более задрожала, все ее тело пришло в судорожное движение. Старик взял ее за голову и придерживал крепко, чтоб лицо бедной малютки не отворачивалось от очага.

Через несколько времени он сказал ей тихим, но сердитым голосом: «Смотри, где твой отец». Судорожное движение дитяти увеличилось; бедная Эльса билась, чтоб вырваться из рук старика, но тщетно; его железные руки приковывали ее к обрубку.

— Смотри же, где твой отец! — повторил старик еще более гневным голосом.

Эльса затрепетала сильнее, но пристально устремила глаза свои в очаг.

— Вижу, — наконец сказала она прерывающимся голосом, — вижу отца… он сидит на камне… возле него дерево… нет, не дерево… возле него человек… солдат… он что-то говорит отцу… но я не могу расслушать…

— Слушай, — сказал грозно старик.

— Солдат говорит отцу, чтоб он отдал ему свое платье… отец не дает… они горячо спорят… ах, он замахивается на отца… отец ударил солдата… ах,

солдат стреляет… отец падает… ах, отец умер…

Старик отскочил от нее при этих словах. Гина вскрикнула на печке… Эльса зарыдала, старик наклонил голову в ужасе и шепотом проговорил: «Вот мое наказание…» Якко дрожал под хворостом…

Чрез несколько времени послышался лошадиный топот. Жители избушки вздрогнули… онемение прошло… Вот как будто что-то ударилось о землю: скоро дверь со стуком отворилась, и вбежал человек в финском платье, с мушкетоном в руке, облитый дождем, забрызганный кровью и грязью.

— Лодку! Лодку! — вскричал он на шведском языке. — Скорее лодку!

Старик посмотрел на него и очень холодно произнес: an mujsta[63].

— Слышишь ли, что я говорю? — вскричал швед с гневом. — Проклятая лошадь у меня пала… Лодку!.. Сию минуту вези меня на другой берег.

Старик, хладнокровно поворотя голову, по-прежнему хотел выговорить свое an mujsta, но Гина вдруг бросилась на пришельца: «Это платье Павали, ты снял его с Павали? Ты убил Павали?

---

[63] Примечания: 63
Не понимаю — обыкновенная фраза хитрого финна.

Где он, где он?»

Швед не понимал слов Гины и с гневом оторвался от нее: «Что за толки! Говорят вам: лодку, мне нельзя терять времени; я с важным донесением… Выборг взят русскими… Слышите, понимаете?.. Лодку… лодку, или убью».

Старик посмотрел на шведа с мрачным видом и, не двигаясь с места, опять проговорил: an mujsta.

Тогда швед потерял терпение: «Коли не понимаешь, — вскричал он, — так я тебе иначе покажу, чего мне надо…»

С сим словом он схватил старика за длинные волосы и потащил из избы. Гина впилась в шведа. «Ты убил моего сына, ты хочешь убить и мужа!» — кричала она, заслоняя двери и силясь помочь своему мужу. Раздраженный швед толкнул Гину так сильно, что она головою ударилась об окраину двери — Гина и не вскрикнула… Старик хотел схватиться за нее, но швед не дал ему времени и сильною рукою повлек его на берег…

На дворе прояснилось; ветер разрывал облака, и они, как дым, неслись по белому небу; дерева пригибало к земле, пена порогов, усиленная бурею, с ужасным ревом разбивалась о гранитные камни; первые лучи зари отражались на серых волнах кровавыми пятнами…

— Где переправа? — кричал швед, тряся старика из всей силы…

Кажется, на этот раз старик понял. Он не отвечал ничего, но пошел прямо к лодке, привязанной между соснами, растущими по верховью над главным порогом.

— А! Понял наконец, — сказал швед с радостью, — вези скорее.

Старый финн отвязал лодку и хотел было уступить место шведу, но швед проник его намерение.

— Нет! — сказал он. — Ведь вы народ хитрый — пустишь меня, да сам уйдешь; ступай-ка вперед!

С сими словами он втолкнул старика в лодку — старик повиновался. Привычными руками взялся он за весло — видно было, что ему не впервые проводить свою лодку между опасными порогами… Изредка он посматривал на шведа, но в лице финна не было видно никакого чувства… На средине реки швед вздрогнул. «Правее! Правее! — вскричал он. — Нас несет к порогу».

— An mujsta, — отвечал финн, злобно улыбаясь…

— Правее! Говорю тебе — или…

С сими словами швед взялся за мушкетон, но было уже поздно: лодку быстро втянуло в белую

пену — едва раздался из волн сильный хохот старика, крик шведа… Мелькнуло что-то черное посреди клубов пены — и все исчезло навеки: и финн, и швед, и лодка.

Никто не был свидетелем этой сцены, кроме Якко, который в испуге бежал за стариком и при страшном зрелище окаменел на берегу.

В эту минуту несколько всадников в зеленых мундирах скакали на берегу… Вдруг конь передового поднялся на дыбы.

— Смотрите! — вскричал всадник по-русски. — Здесь пала шведская лошадь, он должен быть здесь, недалеко!

С сими словами начальник русского отряда быстро соскочил с лошади, за ним последовали другие, и все вместе вбежали в избушку; на пороге лежала убитая Гина; огонь на очаге потух; они не заметили Эльсы, которая еще не могла прийти в себя под кучей хвороста.

— Видно, что здесь был швед нерубленый, — сказал начальник отряда. — Куда же он девался? Верно, переплыл через реку; беда, если его не захватим.

Быстро выбежали русские на берег и встретили бедного Якко.

— Где гонец шведский? — спрашивали русские.

Якко в самом деле не понимал их, но, догадываясь, показывал рукою вниз по течению Вуоксы.

— Он должен быть недалеко, — сказал начальник, — на коней, живей!

С сими словами начальник вскочил на коня, посадил поперек седла бедного Якко, и весь отряд поскакал по берегу. Так проскакали они добрую версту; там, где кипение порога прекращается, Якко замахал рукою, русские соскочили с коней к берегу и увидели, как волна прибивала дребезги лодки, обезображенные трупы старого рыболова и шведа в финской одежде.

— Не переплыл, голубчик, — вскричал начальник, — туда ему и дорога. Теперь марш назад, а не то шведы захватят. Ты, малый, будешь нам служить провожатым. — И отряд помчался во всю лошадиную прыть.

Так неслись они около десятка верст; Якко не помнил самого себя: быстрое движение коня отбило у него и последнюю память.

Вдруг в лесу послышались ружейные выстрелы; русский начальник остановил свой отряд и стал прислушиваться.

Из лесу показалась толпа шведов. Увидев русских, они хладнокровно построились в боевой порядок и дали по отряду залп из ружей; но ка-

жется, не разочли расстояния: только немногие из русских лошадей были ранены; между ними была, однако же, и лошадь начальника отряда; он спустил Якко на землю и, вскрикнув: «Ребята, за мною!», с палашом в руке бросился на шведов. Шведы не успели дать второго залпа; русский отряд расстроил ряды их, смял их лошадьми и рубил палашами. Шведы оборонялись храбро штыками; большая часть лошадей русских были ранены; почти весь отряд спешился, быстро стал в боевой порядок и, как новое свежее войско, пошел на израненных, смутившихся шведов; бой стал вполне рукопашный; штыки изломались; шведы бились прикладами, русские палашами. Преследуемый двумя шведскими фузильерами, начальник русского отряда, прислонившись к утесу, отважно отбивался от них надломленным палашом. Товарищи его были далеко, гибель казалась неизбежна. Уже русский творил молитву на смертный час, как вдруг один из его противников, пораженный сзади, упал на землю, за ним последовал и другой: тогда только русский начальник увидел пред собою маленького Якко с изломанным прикладом в руках. С сверкающими глазами, распаленный мщением, маленький финн ходил между рядами, и когда

замечал схватку, то поражал прикладом того, кто был в шведском мундире; он не спускал никому — ни раненым, ни убитым — и злобно ударял по головам где ни попало.

— Вот молодец! — кричали русские. — Славно, славно, только лежачих не бей.

Через несколько времени разбитые шведы рассеялись снова по лесу. Начальник русского отряда, расставив несколько всадников для наблюдения, поспешил к главному русскому корпусу невдалеке от Выборга.

— Ты не расстанешься с нами, молодец, — сказал он молодому финну.

Якко не понимал ничего, глаза его горели, одно в нем было чувство: злоба на шведов; остальное все было забыто: он не знал, что с ним делается, и всему бессознательно покорялся. Чрез несколько верст поручик Зверев, начальник отряда, примкнул к главному русскому корпусу; уже он сбирался ехать с донесением, когда среди лагеря все пришло в движение. «Царь едет! Царь едет!» — говорили между собою солдаты.

Якко ничего не понимал, что вокруг него делается; он видел только, что множество людей столпилось вокруг высокого черноволосого человека, пред которым все снимали шляпы; скоро и

Якко привели в ту же толпу. Поручик Зверев взял Якко за руку, а высокий черноволосый человек, пред которым все снимали шляпы, потрепал его по щеке и проговорил что-то окружающим на языке, для финна непонятном.

Якко еще смотрел на черноволосого человека, не мог отвести глаз от него, хотел ему что-то вымолвить и не мог…

Через несколько минут Якко посадили в телегу, и он помчался сам не зная куда…

Так продолжалось дня три: во время дороги провожатый Якко, израненный солдат, ласкал, холил и кормил бедного финна.

Невиданные предметы, незнакомые люди, незнакомая пища — все это поражало молодого финна и приводило его в состояние, близкое к очарованию. Наконец миновали финские горы, пошла ровная дорога между болотами. Скоро Якко увидел дома, показавшиеся ему удивительно огромными; проехав далее, он увидел дома еще огромнее прежних, широкую реку и за рекой другой город какого-то странного вида: на стенах блещут медные пушки и ходят часовые с ружьями; огромные лодки, каких Якко еще никогда не видывал, несутся по широкой реке; наконец телега остановилась у каменного дома,

проводник вышел из телеги, вытащил Якко, обессилевшего от тряской дороги, и повел его за собою, где изразцовая печь с изображением людей и разных животных вывела из бесчувствия бедного финна. Чрез минуту в комнату вошел человек пожилых лет; он долго говорил что-то с проводником и гладил по голове Якко. Якко, ободренный этими ласками, стал бодро ходить по комнате; всякий предмет останавливал его внимание; он ощупывал мебели, обшитые зеленою кожею, дотрагивался до стекол, которых назначения никак не мог постигнуть. Особенно поразило его небольшое зеркало в простенке. Якко сначала обрадовался, увидев финна, но потом испугался, отбежал и спрятался в угол.

Между тем в комнату вошла женщина и за ней восьмилетняя девочка; они напомнили финну его прошедшую жизнь, напомнили ему Гину, Эльсу. В продолжение последних четырех дней Якко, пораженный всем случившимся, забыл все былое, но теперь он всплеснул руками, заплакал и стал кричать: «Эльса, Эльса!» Но никто не понимал бедного финна; его ласкали, старались утешить, но он все плакал и не ел целый день. На другое утро Якко сидел уже на корабле, вместе с другими молодыми людьми разных возрастов,

и тщетно старался растолковать себе, где он и куда его везут.

Благосклонный читатель уже, верно, догадался, что Якко был привезен в Петербург, в новую столицу преобразователя России, только что возникшую из болот финских. В то время просветитель России дал повеление отправить в Голландию несколько молодых людей; они поручались попечению князя Куракина. Неохотно русские люди отправлялись за море обучаться басурманским наукам. Финский сирота, обративший на себя внимание Петра, был находкою в таком случае; корабль уже был снаряжен, бедным финном заменили какого-то нижегородского недоросля, о котором горько плакалась мать.

На корабле Якко встретил старых знакомых, и именно пожилого человека, который так ласкал молодого финна; этот пожилой человек был отец поручика Зверева, секретарь и домашний человек князя Куракина; он отправлялся со всем своим семейством к князю в Голландию.

Мы не будем описывать, как полудикий финн мало-помалу обратился в образованного европейца, как он выучился иностранным языкам, как сделался отличным физиком, механиком.

Протекли одиннадцать лет, и Якко, называв-

шийся теперь Иваном Ивановичем Якко, жил в Голландии у старика Зверева, который любил его как родного. Сенные девушки толковали даже, что Иван Иванович приволакивался за меньшею дочерью Зверева, Марьею Егоровною, но старик часто твердил, что Ивану Ивановичу надобно прежде всего у царя выслужиться. Наконец, настало время разлуки; Иван Иванович должен был ехать в Петербург; с тем вместе отправлялся лестный отзыв князя Куракина к монарху о нашем Якко.

Приемыш бедного рыболова едва узнал юную столицу — так возмужала она в короткое время; берега островов застроились, лес мачт покрывал лазурную поверхность Невы: и страшно, и весело было на душе финна. И теперь, как прежде, он знал о России еще по слуху; но ее величие тем сильнее поражало его. Он вспомнил свою родимую избушку, вспомнил баснословные рассказы о русском царстве и с трудом еще верил, что он посреди этого баснословного мира. Он вспомнил, как в первый раз увидел монарха; действительность мешалась в душе финна с очарованием: великий вождь России представлялся ему то в виде исполина, то в виде чудного волхва, покоряющего стихии; это верование в Якко получило

полную силу, когда образованный ум его находил на каждом шагу убеждение, что чудные подвиги Петра не вымысел, но действительность. Тогда разгоралась в душе Якко восторженная любовь к преобразователю России и уверенность, что и он не недостоин быть орудием монарха. Молодой финн знал, как дорожит он образованными людьми, которые в состоянии понимать его великие предположения, и гордою надеждой расширялось сердце молодого финна. Действительно, чудные тогда были минуты в русском царстве: Ништадтский трактат был заключен; Россия праздновала свою силу и подносила царю звание императора и Великого. Отечество было безопасно от врагов; еще не умолкал гул войны, но то был гул отдаленный, не близ юной столицы, но далеко на востоке. По сношениям князя Куракина наш молодой финн знал, что внутреннее улучшение обращало теперь на себя все внимание монарха. Россия походила на огромную машину, которой необъятная сила не знала границ; недоставало лишь маятника, который бы этой силе дал равномерное движение. Распорядок дел земских, средства сообщения, воспитание народа — все возникало в голове Петра и с высоты престола, как могучее семя, падало на плодоносную

русскую землю. С восторгом говорил себе финн, что для этих дел Петру нужны были люди; знал он и то, что монарх смотрел на возрастающее поколение как на лучшую свою надежду, что часто с ранних лет он следил за молодым человеком, внимательно наблюдал за развитием его способностей и вдруг мгновенно посвящал его в высшие таинства трудов своих; тогда почитатели старины ворчали и удивлялись ошибке царя; но еще более дивились они, когда юноша оправдывал блистательные надежды, когда способности избранника соответствовали именно тому делу, на которое он был предназначен; старики приписывали такое счастие случаю или находили в царе искусство угадывать, не зная того, что великий царь издавна трудолюбиво следил своим орлиным оком за человеком, им избранным. Наш финн заметил также, что, как все великие люди, богатые мыслями, опережающими время, Петр любил, чтоб его угадывали, что он ненавидел простое буквальное исполнение, что он искал в своих помощниках той любви к делу, которая превозмогает все препятствия, переходит за границы исполнения, изобретает новые средства для новых целей и предупреждает великие намерения Великого. Часто из писем монарха к

князю Куракину Якко видел, что царь берег таких людей как зеницу ока; он видел также, как часто Великий жаловался, что ему не за кого взяться.

В самом деле, царь издавна, по отзывам князя Куракина, знал подробно способности и любимые занятия молодого финна.

Однако воображение Якко не переходило выше унтер-лейтенанта или гиттенфервальтера, но другое нежданное для него дело приготовлялось. В аудиенции пред государем он проговорился о Венеции и о тамошних типографиях; несколько слов Якко показали, что ему известно это дело; а об этом деле уже с давнего времени заботился Петр Великий, теперь же вся его деятельность обращена была на это мощное орудие просвещения, типографское искусство еще мало было известно в России; немногие люди в России тогда могли быть к нему способны. Наш Якко был находкою для Петра в этом случае, и он дал ему в одно время несколько важных поручений: он велел ему заняться переводом некоторых иностранных книг, между тем заготовить план для образования новой типографии и в особенности обучить мастеров для типографского дела. Удивление и восхищение Якко были невыразимы; он невольно упал на колени пред великим царем

и от полноты чувств не мог проговорить ни единого слова. Так полудикий финн (под могучей рукою Петра) должен был сделаться одним из орудий русского просвещения.

В конце 1722 года почтовая кибитка остановилась невдалеке от Вуоксы; молодой человек в богатом немецком кафтане выскочил из повозки, бросился на землю и целовал ее с жаром юноши. С трудом он выговаривал несколько финских слов, которые едва поняли окружающие; однако ж они догадались, что путешественник спрашивает о внучке старого Руси.

Память о старике еще не исчезла между жителями Иматры; они помнили отважного рыболова и его удивительные рассказы в долгие зимние ночи. Показали Якко на берег, и в одно мгновение молодой человек бросился в лодку.

Когда он вышел на берег, слезы брызнули из глаз его; он узнал родимую хижину, родимые пороги — сердце его сильно забилось. «Где же Эльса? Эльса?» — спрашивал он.

Невдалеке несколько праздных финнов окружали молодую девушку лет двадцати; она перебирала пальцами по кантеле, пела старинные песни о финском сокровище Сампо и приплясывала; в переднике ее лежали куски хлеба,

полученные ею, вероятно, от слушателей.

— Вот Эльса, внучка старого Руси, — сказали провожавшие молодого человека.

— Эльса! Эльса! — вскричал он и бросился обнимать ее.

Эльса испугалась, закричала, хотела бежать.

— Эльса! сестрица! неужели ты не узнаешь своего Якко?..

— Ты обманываешь меня, Якко умер, убит, — отвечала Эльса и горько заплакала.

— Твой Якко жив, это я, приемыш твоего деда, понимаешь ли?

Эльса смотрела на него, но не верила и продолжала плакать.

Якко едва мог объяснить ей свои мысли. Выучившись почти всем языкам европейским, он забыл свой собственный и не находил в нем самых обыкновенных слов или употреблял одно слово вместо другого; но вид родимых мест помогал его памяти, и финские слова, хотя с трудом, прорастали сквозь пласты чуждых слов и понятий, как корни берез сквозь финские граниты.

— Ты не веришь, что я точно Якко? — продолжал он. — Посмотри на меня хорошенько — неужели я так переменился?

— Якко был наш, суомиец, а ты не наш, ты боль-

шой господин.

— Эльса! Эльса! Я все тот же, только платье на мне другое. Посмотри, вот камень, на который мы, бывало, взбегали; вот рябина, с которой я бросал тебе ягоды; вот здесь я тебе сделал рожок из воловьего рога; пойдем в избу, я тебе расскажу, где что лежало, где мы спали с тобою, где сидел Руси, где сидела Гина за печкой…

Они вошли в избу; все было в ней на прежнем месте, только стены немного покривились; та же четвероугольная печь, то же волоковое окно, те же сосновые обрубки, та же куча хвороста, служившая постелью. Страшная ночь, рассказ Руси, его смерть, смерть Гины — все живо возобновилось в памяти молодого финна; он все повторил Эльсе с подробностию.

Эльса уверилась наконец, что пред нею действительно Якко, и бросилась, рыдая, в его объятия. Они сели.

— Скажи же мне, Эльса, как живешь ты? Где живешь ты?

— Я живу здесь, в этой избе.

— Одна?

— Одна; да чего ж бояться? Все здесь свои люди. Днем я хожу к пастору учиться грамоте — я уж умею читать, Якко, — потом выхожу на дорогу,

играю на кантеле, пою — добрые люди дают мне хлеба — посмотри-ка, я сколько уж набрала его, на целый год. Тут есть даже кнакебре[64]. — Эльса с гордостью показала на ворох кусков, ею набранных. — Вечером прихожу сюда, вспоминаю об отце, о деде, о тебе, Якко, поплачу и лягу спать.

— Ну, Эльса, скажу тебе, теперь будет не то — я теперь богат, и ты будешь жить богато…

— Что же ты нашел, Сампо, что ли?

— Почти так.

— Где же ты нашел его, Якко?

— У русских…

— Ах, и рутцы тебя не убили? — вскрикнула Эльса, не поняв своего собеседника…

— Не рутцы, а русские, Эльса, или, по-твоему, вейнелейсы.

— Так ты был в их земле?

— Я живу там и тебя повезу туда с собою…

— Зачем? Как можно? — вскричала с ужасом Эльса. — Ведь это так далеко, далеко от нас… Где же мы спать будем?..

— Там, в моей земле…

— Да здесь твоя земля, Якко… эта земля моя,

---

[64] Примечания: 64

Лепешки из муки, употребляемые только зажиточными поселянами. «Он круглый год ест чистый хлеб» — у финнов выражение величайшего богатства.

мне сказал пастор, а стало быть, и твоя…

— Ты не понимаешь меня, милая Эльса; в России у меня есть дом, в шесть раз больше, нежели твоя избушка; там ты будешь ходить в пестром платье, каждый день есть чистый хлеб…

— Как это можно? — повторяла Эльса. — Послушай! — наконец сказала она ему. — Знаешь, что я выдумала? Вместо того чтоб мне с тобою ехать, ты привези сюда свое Сампо!..

— Это невозможно, Эльса.

— Отчего невозможно? Ты думаешь, что я не управлюсь; нет, я большая хозяйка; я умею коров доить, делать кислое молоко, даже кнакебре напеку на целый год; а если у тебя столько достанет богатства, то мы купим соли и насолим рыбы, то-то будет счастье.

Молодой человек покачал головою, улыбаясь:

— Все это невозможно, милая Эльса. Я служу царю вейнелейсов, я должен ехать в его землю, а неужели ты меня покинешь?

— Как мне расстаться с тобою, Якко! Ни за что, ни за что. На мне уж многие хотели жениться, но я всем отказывала, я всем говорила, что один Якко будет моим мужем, и теперь говорю, как же мне расстаться с тобою? Но зачем тебе ехать, не понимаю; по крайней мере, будем ли мы приез-

жать домой?

— Мы будем, пожалуй, иногда приезжать сюда.

— Иногда, а как часто? Каждый день?..

— Невозможно.

— Ну, раз в неделю, в воскресенье, в церковь.

— И это невозможно, а разве раз в год.

Эльса не отвечала, но горько плакала.

Между тем невинное предложение Эльсы выйти за него замуж заставило молодого человека задуматься. Посмотрев пристальнее на Эльсу, он заметил, что, несмотря на ее странный наряд и на волоса, поднятые на маковку под безобразную шапочку, Эльса могла почесться красавицей; лицо ее было не совсем правильно, но имело невыразимую прелесть, особенно когда она улыбалась; иногда ее голубые глаза беспрестанно перебегали от предмета к предмету, иногда оставались совсем неподвижными, и тогда в них отражалось то грустно-таинственное чувство, которое замечается лишь у женщин северного племени.

Странные мысли приходили в голову молодого человека; теперь он уже другими глазами смотрел на Эльсу; он воображал себе ее одетую в парадное платье, в его доме, в петербургской ассамблее, и сердце его билось сильно и порыви-

сто; но с другой стороны, ему страшно казалось соединить навек судьбу свою с женщиною почти полудикою, которой язык не будет никому понятен, которая понимает в жизни лишь первые ее потребности; он воображал себе все огорчения, которым она будет подвергаться в обществе, для нее недоступном, все насмешки, которые будут преследовать ее безыскусственное простосердечие и совершенное незнание самых обыкновенных предметов. Он испугался мысли провести с нею три дня в одной повозке: самая невинность, самая непритворность ее чувств могли быть для них обоих гибельны.

— О чем ты задумался, милый Якко? — сказала ему Эльса, схватив его за лицо руками. — Ты, верно, раздумал и хочешь дома остаться, не так ли? — и с сими словами она, пока он еще не мог опомниться, горячо поцеловала его в губы. Невольная дрожь пробежала по членам молодого человека.

— Нет, Эльса, не то, — отвечал молодой человек, стараясь казаться хладнокровным. — Ты знаешь дорогу к пастору?

— Как же, и самую короткую, я все тропинки знаю…

— Поведи меня к нему.

— Пойдем, пойдем, но ты, я чай, голоден; есть не хочешь ли? — и с сими словами она подала ему лепешку из коры пополам с мукою…

Якко с отвращением и горестью посмотрел на эту странную пищу.

— Нет, — сказал он, — я не хочу есть; пойдем поскорее к пастору.

И Эльса побежала, схватив Якко за руку и с аппетитом пригрызывая свою лепешку.

В пасторе Якко нашел человека доброго и образованного. Молодой человек объяснил ему странность своего положения, и пастор совершенно понял его.

— Я могу помочь вам, — сказал добрый старик, — жена моя отправляется сегодня в Ниеншанц, т. е. в Петербург, хотел я сказать; у ней есть место в одноколке, и ваша Эльса может с нею доехать в этом экипаже, пока еще не привыкла к лучшим.

Молодой человек, поблагодарив пастора за его одолжение, прибавил, что у него нет ничего, кроме кибитки, и, должно признаться, сказал он, — что «*наши* русские повозки вовсе не годятся на *ваших* горах».

Когда все было улажено к отъезду, пастор отвел молодого человека в сторону. «Я должен вас

предостеречь, — сказал он, — вы везете Эльсу в чужую сторону; знайте, что она подвержена чему-то похожему на падучую болезнь; особенно удаляйте ее от огня и от лунного света: и то и другое, кажется, производит на нее вредное влияние; от того и от другого она приходит в какой-то сон и начинает говорить престранные речи. Простой народ считает ее колдуньей».

От этого рассказа Якко вздрогнул; он вспомнил забытое им до того гаданье старика и, несмотря на свою образованность по духу времени, не мог выбить себе из головы, чтоб Эльса не была в самом деле околдована. Он не сообщил, однако же, своего замечания пастору, но дал себе слово не упускать из виду этого обстоятельства. Много стоило труда уговорить бедную Эльсу сесть в одноколку; она не хотела и ехать из родины, и не хотела быть не вместе с Якко, и не хотела не ехать. Она плакала навзрыд; почти без чувств усадили ее в повозку.

Якко с удивлением замечал во время дороги, что на Эльсу ничто не производило впечатления; ни любопытство, ни изумление не были доступны ее душе; одно в ней было заметно — страх при виде чужих и воспоминание о родимой избушке. Наконец повозка остановилась у петербургской

заставы — караульные солдаты разглядывали одноколку, отлично окрашенную красною краскою, засматривались и на наших дам.

— Вот, — толковали они, — и чухна в красной коробке приехала — помоложе-то недурна, хоть куда — вишь, какая смазливая…

Эльса испугалась, смотря на эти усатые лица, запаленные порохом, выглядывавшие из-под огромных шишаков. И пасторша струхнула, хотела что-то сказать солдатам, но немногие русские слова, которые она знала, мешались с финскими и немецкими.

— Что ты там лепечешь, чухонская ведьма? Или боишься, что сглазят? — сказал один из солдат, и вся толпа захохотала громким русским смехом.

В эту минуту Якко догнал наших путешественниц и подошел к одноколке. При виде человека в немецком кафтане и который притом говорил по-русски, толпа разошлась.

— Куда ты завез меня? — говорила Эльса. — Какие люди здесь страшные! И говорить не умеют, а все что-то так страшно кричат!

Якко засмеялся замечаниям бедной Эльсы и старался ее утешить. Между тем пасторша поняла в разговоре русских только одно слово: «ведьма», потому что ей уже не раз случалось слышать

его; она не замедлила рассказать Эльсе, что их бранили, и Эльса с простодушием спрашивала: по какому праву их бранят, когда они ничего дурного не сделали?

Якко шепнул слова два вышедшему на ту пору караульному офицеру; он прикрикнул, и Эльса видела, как страшные люди в шишаках вытянулись и сделались как окаменелые.

Все это казалось Эльсе и чудно, и страшно.

На первую минуту пасторша привезла Эльсу в дом своих родственников; Якко, поручив им заботу о ее костюме, отправился к Звереву, рассказал ему свое сиротство, как он призрен был отцом Эльсы, его печальную кончину, чудесное сохранение его дочери и просил именем благодарности и человеколюбия принять к себе в дом бедную девушку. Добрый Зверев, посоветовавшись с женою, согласился. И вот наша Эльса, боязливое, своенравное дитя природы — в фижмах, в полуброне; ее учат держаться прямо, ходить тихо, не бросаться на шею Якко; она скована во всех движениях, не смеет поднять головы, не смеет пошевелиться, едва смеет курнычать свои печальные финские напевы.

Егор Петрович Зверев был человек русский,

но полунемец или, лучше сказать, полуголландец. Он не получил большого образования, но долгое пребывание в Голландии сильно на него подействовало. Он сделался воплощенною аккуратностью: каждый день вставал в определенное время, надевал белый миткалевый халат, заплетал свою косичку, выкуривал трубку голландского канастера и принимался за дело, которое непременно оканчивал в определенный час, и каждый день проговаривал свою заветную фразу: «Уже двенадцать часов за полдень — не пора ли обедать, Федосья Кузьминишна?» Он не постигал ничего, что делается в России, но делал и говорил то, а не другое только по той причине, что *так следует.* Дом его был бы как заведенная машина, если б не мешала ему немного жена его, Федосья Кузьминишна; она хотя также жила в Голландии и часто с какою-то гордостью рассказывала о том своим соседкам, но на нее голландский дух мало подействовал; она никак не могла понять, зачем каждый день надевать чистое белье; зачем в 8 часов, а не прежде и не после поливать цветные луковицы; почему каждую субботу надобно было мыть все полы, окошки и стены и натирать мебель воском, когда не ожидали гостей. От этого между супругами бы-

вали стычки; увидя кресло не на прежнем месте, стол ненатертый, Егор Петрович говаривал жене шепотом, чтоб не слыхали домашние: «Не вашего ума это дело, Федосья Кузьминишна». А она отвечала также шепотом: «Что делать? Глупешенька, мой батюшка, так век изжила — так и в могилку пойду». Никогда эти ссоры не выходили наружу; только домашние знали, что, когда старики начинали говорить друг другу *вы,* это значило, что между ними черная кошка пробежала.

Марья Егоровна была срединою между отцом и матерью; полна, свежа, румяна, но немного смугловата; ей бы и поспать, и на лежанке понежиться, и поболтать под вечерок с просвирнею о том, что делается в околотке, но настанет утро, и Марья Егоровна затянется в корсет, наденет фижмы и сделается совсем голландкою; не разговорится, не пошевелится и только крахмаленные манжеты оправляет. Сын Зверева был всегда в походах.

Затем к семье причислялись Евдоким, старый слуга Зверева, и несколько сенных девушек, из которых главная была Анисья-ключница, которой отличительным свойством была ужасная скупость, не за себя, но за господ; отпуская масло и другие домашние снадобья, она всегда

отмеривала немножко меньше положенного и преравнодушно выслушивала за такое соблюдение господского добра жестокие упреки других челядинцев.

Вот в какую семью попала наша Эльса. Сначала, запутанная новостью предметов, видом чужих людей, она слепо повиновалась, но, возвращаясь в отведенную ей комнату, с восхищением сбрасывала свой дневной наряд, начинала потихоньку плакать, петь свои финские песни, а потом и приплясывать.

Якко через день навещал Эльсу; чаще нельзя ему было ходить; он занят был важным делом, переводил какую-то книгу по *цифирной науке;* работы было много, а времени мало — торопили нашего переводчика.

— Якко, Якко, — говорила ему Эльса, — здесь беда, здесь в баню нельзя ходить…

— Отчего же, Эльса?

— Как отчего? Я хотела потихоньку истопить, чтоб не околдовали, но эти вейнелейсы большие тиетаи, тотчас узнали и помешали; все со мной в баню хотят идти и все смеются надо мною; они заколдуют меня — это верно… — и Эльса заплакала.

Якко напрасно старался вразумить ее.

— Нет, — говорила она, — что ни говори, а здесь страшная земля, и страшные люди твои вейнелейсы. Онамедни повели меня по улицам, смотрю — они собрались и землю наказывают…

— Как? Землю наказывают?..

— Да! Ты скажешь, что и это неправда. Я сама видела, как они обтесали дерево колом и огромным молотом на веревках вбивали его в землю так, что земля стонала, а они-то кричат, кричат… До сих пор у меня в ушах отдается этот страшный крик.

— Глупенькая! Да они вбивали сваи, чтобы строить дома!..

— Да зачем же? У нас на Вуоксе дома и без того строят!

— Да на Вуоксе камень, а здесь земля не держит…

— И земля здесь не держит! Все здесь не так, как надобно! Страшно, страшно, Якко! Послушай — а это что значит? Когда мы ехали сюда, я на дороге видела: вейнелейсы подложили огонь под большой утес, утес грохнул и разлетелся на мелкие части — что они, Сампо, что ли, искали?

— Нет, они хотели разрыхлить землю…

— Как? Им кажется земля то слишком мягка, то слишком крепка — вот видишь, ты сам проти-

воречишь себе, Якко; уж я вижу, что тут что-то нечисто. Страшно, страшно здесь, Якко. И грустно мне, грустно! Как вспомню наши горы, наши дороги — так и зальюсь слезами; там я была вольна, как рыба в воде, — день-деньской на свежем воздухе, над головою небо, кругом туман, невдалеке родимые песни и на душе чудный говор; а здесь ни неба, ни тумана, ни песен, ровно нет ничего, а сердце молчит от испуга: поверишь ли, Якко, я здесь еще ни раза не слыхала родимой песни; только и видишь в окошко, что ходят усатые вейнелейсы да землю роют, Сампо ищут. Послушайся меня, милый Якко: убежим, убежим отсюда скорее, пока вейнелейсы и нас в землю не вколотили или на воздух не взорвали…

— Куда же бежать нам, Эльса?

— Куда? Домой, домой, на Вуоксу, на Вуоксу — не век же здесь жить! Там мы женимся, Якко, и забудем про вейнелейсов…

Подошедшая Федосья Кузьминишна прервала разговор.

— Скажи ей, батюшка Иван Иваныч, ведь она ни по-нашему, ни по-немецкому не понимает, — что она все хныкает; уж, правду сказать, Бог с ней, такая чудная: хлебного мякиша не ест да корки собирает; за обедом в рот ничего не возьмет, а

только день-деньской свои корки гложет…

— Э! Федосья Кузьминишна, — сказал Егор Петрович, — это уж народ такой, я знаю его. Ничего! Молода, попривыкнет… так следует.

— Это ваша воля, — отвечала Федосья Кузьминишна с видимым неудовольствием, — а ведь вы сами же в доме порядка требуете и выговариваете, когда на полу крошки или что другое.

Марья Егоровна молчала, но проницательный Якко скоро заметил, что она исподтишка ревновала его к Эльсе.

У Ивана Ивановича на уме было и один, и два. Нравилась ему Марья Егоровна — девушка красивая, смиренная, по-тогдашнему довольно образованная; семейство у ней доброе; Марья Егоровна не осрамила бы его и в царской ассамблее; но как сравнить ее с Эльсою — то своенравною, то задумчивою, то веселою Эльсою? Когда, сидя под окном пригорюнившись, она раскидывала свои белокурые локоны, глаза ее беспрепятственно перебегали от предмета к предмету и она напевала любимую свою песню о том, как жаловалась береза на свое одиночество, Якко забывал и свои житейские выгоды, и надежды; родное чувство отзывалось в груди его, и он, подобно Эльсе, готов был все бросить и укрыться с нею в бедную

избушку на финляндских порогах.

Проходило несколько часов, Якко вспоминал о своей новой жизни, о своем участии в трудах Великого, и тогда пелена спадала с глаз его: он видел в себе будущего начальника адмиралтейской типографии, воеводу, близкого к государю человека; тогда, по неизбежному сцеплению мыслей, он пугался своей женитьбы на полудикой чухонке, и Марья Егоровна представлялась ему во всем великолепии, в богатом робронте, при дворе, окруженная иностранными гостями, которые не могут надивиться ее ловкому и учтивому обращению.

В таких мыслях Якко, не зная, на что решиться, уходил домой и принимался за свою книгу о цифирной науке.

Егор Петрович с отцовскою добротою занимался бедной Эльсою; не знала она грамоту — он приговорил приходского дьячка учить ее по-русски; но неискусство ли учителя, неспособность ли ученицы — наука не давалась; Эльса училась, терзалась и плакала как ребенок. Приставлен был к ней и танцмейстер; хотя долго бился добрый немец Штолцерман, но эту науку она поняла скорее — Эльса уже очень порядочно танцевала менуэт, кланялась и приседала; Егор Петрович

не мог ею довольно налюбоваться; но после урока Эльса по-прежнему убегала в свою комнату, пригорюнивалась и опять начинала петь о своей березе.

Скоро представился Эльсе случай показать свои танцевальные способности во всем блеске.

Егор Петрович объявил, что следует всем явиться на ассамблею, которая была объявлена в их соседстве. Федосья Кузьминишна было и воспротивилась, но Егор Петрович ей заметил: «Не прекословьте, Федосья Кузьминишна, так следует: на ассамблеях бывают и шкипера голландские с женами, и знатные люди, и сам государь, а вы только приоденьтесь хорошенько и приоденьте девиц — так следует, говорю вам».

— Как? — возразила Федосья Кузьминишна, всплеснув руками. — И чухонку с собою везти?

— Непременно, Федосья Кузьминишна, и чухонку; пусть людей увидит, себя покажет, надобно же ей свет узнать… Так следует, говорю я вам, Федосья Кузьминишна.

На такую речь у Федосьи Кузьминишны не было возражений, она покачала головой и отправилась приготовлять наряды.

Наступил день ассамблеи. Егор Петрович, в голубом глазетовом кафтане, с стразовыми

пуговицами, в полосатых чулках с красными стрелками и с корабликом под мышкою; Федосья Кузьминишна в желтом робронте, Марья Егоровна в розовом, Эльса, которую звали Лизаветой Ивановной, — в ярко-красном, что ей очень нравилось.

Вот пришли в ассамблею; Егор Петрович, раскланявшись с хозяином, скоро встретил голландского шкипера, который пригласил его на кружку пива и на трубку табака. Федосья Кузьминишна уселась с барышнями к дамам, которые плотно пристали по стенке, ожидая начатия танцев: старые с ужасом, молодые с нетерпением. Эльса ничего не видала и не слыхала, что вокруг нее; она была так испугана с самого своего приезда, что сердце ее находилось беспрестанно то в тревоге, то в полном онемении. Она села также и по обыкновению бессознательно поводила глазами со стороны в сторону; перед ней пестрела толпа, и лица, сменяясь одно другим, почти исчезали для нее; шум разговоров, свет, движение, все оглушало ее и физически, и морально. Вдруг глаза ее остановились на противоположной стенке; она смотрит: что-то знакомое… Да, это берега Вуоксы, это пороги — над ними светит солнце — радуга играет в причудливых брызгах — тут и родная

избушка, и утес, к которому она прислонена… Не чудо ли это? Не какой ли тиетай перенес Эльсу на родимую землю?.. Сердце Эльсы сильно бьется, в глазах темнеет… она слышит шум порогов… ей дует в лицо влажный ветер… чудятся звуки родного языка — не поют ли любимую ее песню? И Эльса начинает потихоньку напевать ее… потом… громче, громче — вдруг ужас! — раздался какой-то треск, Эльсу окружают страшные лица вейнелейсов, между ними Якко с сердитым лицом говорит: «Опомнись, опомнись, Эльса…»

И все исчезло — Эльса видит себя опять в ассамблее, вокруг нее толпа народа, все хохочут, Якко смотрит на нее с недовольным лицом.

— Что с тобою, Эльса? — спрашивает ее Якко. Эльса не могла отвечать, но только рукою показала на противоположную стену.

Тогда для Якко все объяснилось; на стене висела большая картина, представлявшая иматрский водопад. Вокруг Якко столпились люди, и он несколько раз принужден был рассказать, отчего распелась хорошенькая чухонка; говорят, что и государь, из другой комнаты пожелавший узнать о причине тревоги, улыбнулся, слушая рассказ об этом невольном порыве души бедной Эльсы.

Егор Петрович был очень оконфужен этим про-

исшествием и не знал, что отвечать на упреки Федосьи Кузьминишны, которая толковала, что Лизавета Ивановна навек их осрамила при всей компании. А делать было нечего, уйти домой нельзя из ассамблеи, царь еще не выходил — и волею-неволею надобно было остаться. Скоро, чтоб отвлечь внимание от Эльсы, Якко пригласил Марью Егоровну на менуэт; он был отличный танцор, все поднимались с места, когда он выводил даму, и теперь мгновенно вокруг танцующих составился маленький кружок; между зрителями была и Эльса; она с удивлением смотрела на своего Якко и старалась себе растолковать: почему не пошел он танцевать с нею? Она была печальна и угрюма во весь вечер и на все вопросы Якко ничего не отвечала.

Между тем Федосья Кузьминишна положила во что бы то ни стало сбыть с рук эту проклятую чухонку, которая в людях срамит, а дома какие-то чудеса делает. Мы передадим тайный разговор между Федосьей Кузьминишной и Егором Петровичем в спальной комнате. Федосья Кузьминишна, как женщина тонкая, начала разговор стороною.

— Знаешь что, Егор Петрович, — сказала она, — ведь житье в Петербурге становится до-

рогонько…

— Да и я замечаю это, Федосья Кузьминишна, — да что делать? — так следует, в город все народ прибывает…

— А вот Анисья докладывала мне, что у нас расход прибывает: и масла, и хлеба, и солонины — всего не в пример больше выходит…

— Да отчего бы это так, Федосья Кузьминишна?..

— Ну, сам посуди, Егор Петрович, лишний человек в доме не шутка… Сегодня, да завтра, да всякий день за столом, в комнату свеча… и мыло лишнее…

— Эку историю завела! Что тебя, Лиза-то, что ли, объедает? Эх, матушка, уж на это, кажись, пожаловаться не можешь; ест, что твой цыпленок… Не тем, Федосья Кузьминишна, наши деды разорялись.

— Это воля ваша, Егор Петрович, как сами рассудите, а мое дело сказать вам, что нехорошо…

— Что нехорошо?

— Да и в ассамблее вашей, что ли? Осрамила нас…

— Правда, нехорошо — да прошлое дело, Федосья Кузьминишна, сам государь про то знает и только что улыбнуться изволил…

— Ну, да одно ли это, и многое другое нехорошо.

— Ну да что ж еще?..

— Да так, нехорошо — она, Бог с ней, чудная такая — вы знаете, шведки…

— Да Лиза не шведка…

— Ну, все равно, из шведской же земли…

— Ну, да что ж она такое?.. Ну, говори.

— Ну да что? Ведь вы рассердитесь; попросту вам скажу — она ведьма, колдует…

Егор Петрович расхохотался:

— Не вашего ума это дело, Федосья Кузьминишна, такие речи говорить… Ну, что такое ведьма?

— Что делать, батюшка, глупешенька, совсем глупешенька, так век изжила — так и в могилу пойду; не понимаю я вашей премудрости, а сужу попросту: ведьма так ведьма. Послушайте-ка, что весь дом говорит.

— Ну, что еще болтают?..

— А вот что: намедни девушки смотрят, а Лизавета Ивановна пробирается в баню и хочет топить… Вот девушки ей говорят: «Э, матушка, давно бы сказала, мы тебе, пожалуй, баню истопим». Истопили баню, пришли за нею, она было пошла — как увидела, что в баню, то и руками и ногами — а? Как это по-вашему? По-нашему

оттого, что ведьма…

— Нету ведьм, Федосья Кузьминишна, это только старые девки болтают… Просто дика еще, не обтерлась в чужих людях.

— Ну, а это что такое, скажу вам, Егор Петрович, что она день-то деньской напевает себе под нос? Уж недаром…

— Ну, да что напевает? Песни; уж у них обычай такой: все, знай, курнякают…

— Ну хорошо, а что ж это такое? Девушки раз ночью слышат, что у нее шум в комнатке… Смотрят в щелочку, она поет да прядает на полу, да колдует…

— Ну так, молодая девка дурачится…

— Вы все так толкуете, Егор Петрович, а это что? Недавно чухна приехал к нам на двор с провиантом… Она увидела, выскочила и прямо к нему на шею, и начали толковать по-своему…

— Эка мудрость — земляка увидела. Однако после договорим, Федосья Кузьминишна, уже скоро 6 часов; чем из пустого в порожнее пересыпать да на бедную девку нападать, подай-ка мне епанчу — пора в канцелярию.

Федосья Кузьминишна исполнила приказание мужа, но, оставшись одна, покачала головою, всплеснула руками и проговорила:

— Вот всегда-то так… вишь ты, из пустого в порожнее… бедную девку… ах ты, старый греховодник! Батюшки-светы, да никак она его околдовала!

В столовой между тем происходила другая сцена. Якко, проходя рано поутру мимо дома Зверева, не мог не зайти проведать семью, которая для него была второю отчизною.

Марья Егоровна прибирала завтрак: ее черные локоны, загнутые за уши, были прикрыты белым голландским чепчиком; полосатая ситцевая кофта обхватывала гибкую талию; рукава с манжетами, доходившие только до локтя, открывали полную упругую ручку; черные башмаки с красными каблуками, застегнутые оловянною пряжкою, стягивали стройную ножку. Заспанные глазки Марьи Егоровны были томны; то вспыхивали блестящими искрами, то покрывались прозрачною влагою: девические мечты, может быть, ночные грезы придавали лицу Марьи Егоровны задумчивость, которая обыкновенно исчезала в течение дня.

— Как вы сегодня к лицу одеты! — сказал Иван Иванович, целуя у ней руку.

— Вы шутите, — сказала Марья Егоровна, улыбаясь, — на мне домашнее платье, которое вы не

раз уже видели.

Иван Иванович смешался; он совсем не то хотел сказать; душа его говорила: «Как вы хороши сегодня, Марья Егоровна, в вас сегодня что-то особенно привлекательное». Но такие фразы тогда не говорились девушкам и были бы сочтены неприличием. Чтоб переменить разговор, Иван Иванович спросил:

— А где все наши?

— Батюшка в канцелярии, матушка хлопочет по хозяйству…

Якко замолчал и стал рассматривать скатерть с большим любопытством: но когда Марья Егоровна отходила от стола, Якко взглядывал на прекрасный стан ее, и сильно брало его раздумье; он не мог не любоваться и красотою Марьи Егоровны, и ее ловкостью, и любовью к порядку — «добрая жена! добрая хозяйка!» — эти слова невольно отдавались в его слухе. Вот Марья Егоровна придвинула стул к шкапу, чтоб поставить посуду на верхнюю полку; она проворно вскочила на стул, одна ее ножка уперлась в подушку, другая поднялась на воздух, и эта стройная ножка, в сером чулочке со стрелками, была в полной красоте своей. Сердце забилось у молодого человека, глаза его заблистали… Он хотел что-то

выговорить, но дверь отворилась, и вошла Эльса; ее кофта была едва застегнута, белые, как лен, локоны рассыпались по белой полуоткрытой груди, она была печальна, в глазах выражалось что-то полудикое; по инстинкту она поняла то чувство, с которым Якко смотрел на Марью Егоровну, и сердито отвернулась.

— Здравствуй, Эльса! — сказал Иван Иванович по-русски, подавая ей руку.

— An mujsta! — отвечала Эльса, надувши губки и отдергивая руку.

— Да скоро ли же ты выучишься по-русски?

— An mujsta! — повторила Эльса.

— Что с тобою, Эльса? — сказал Иван Иванович по-фински. — На кого ты сердишься? Разве тебя обидели?

— Что тебе до меня? Ты знай пляши с нею — вот твое дело.

— А, так ты сердишься, зачем я плясал с Марьею Егоровною? Что ж за беда? Пора тебе привыкнуть к здешним обычаям…

— По нашему обычаю, пляшут только с своею невестою…

— Растолкуйте Лизавете Ивановне, — прервала Марья Егоровна, лукаво поглядывая на Эльсу, — чтобы она не забывала шнуроваться; маменька

сердится, а мы никак ей не можем растолковать, что это неприлично.

Якко передал эти слова Эльсе. Эльса всплеснула руками.

— Ах, Якко, как тебя околдовали вейнелейсы! Все, что они ни выдумают, тебе кажется хорошо, а все наше дурно. Ну зачем они меня стягивают тесемками? Зачем? Расскажи! Им хочется только, чтоб я не могла ни ходить, ни говорить, ни дышать — и ты то же толкуешь. Ну скажи же мне — зачем шнуроваться? Что, от этого лучше, что ли, я буду?

Якко думал, что отвечать на этот странный вопрос, а между тем невольно смотрел на свою прекрасную единоземку.

Правда, грудь ее была полураскрыта, но эта грудь была бела как снег; локоны в беспорядке рассыпались по ее плечам, но так она еще более ему нравилась; туфли едва были надеты, но тем виднее открывали ножку стройную и красивую. Странные мысли боролись в душе молодого человека.

Эльса продолжала:

— Вот Юссо так похитрее тебя — его вейнелейсы не могут обмануть; послушай-ка, что он говорит.

— Какой Юссо?

— Ты не знаешь Юссо, сына Юхано? Ты всех своих позабыл, Якко, вейнелейсы совсем отбили у тебя память.

— Где же ты его видела?

— Его вейнелейсы заставили везти сюда разные клади — я его тотчас узнала из окошка…

— Что же он тебе такое рассказывал?

— О! Много, много! У Анны отелилась корова, Мари вышла замуж за Матти…

— Что же еще он тебе рассказывал?..

— Ты хочешь все знать? — сказала Эльса, хлопая в ладоши с насмешливым видом. — Пожалуй, скажу. Он звал меня с собою домой.

— Звал с собою?

— Да! Он похитрее тебя, он говорит, что как ни лукавы вейнелейсы, а им несдобровать, рутцы хотят еще раз напустить на них море…

— Что за вздор, Эльса… Да ведь это сказка…

— Да! Сказка! Юссо не то говорит; он толкует, что нам, бедным людям, не годится жить с вейнелейсами; он сказал еще, что набрал здесь много денег за масло — вейнелейсам Бог и масла не дает… Поедем, говорил он, со мной, я на тебе женюсь, денег у меня много, круглый год будем есть чистый хлеб.

— И ты согласилась?

— Нет еще, — отвечала Эльса лукаво, — я сказала, что спрошусь об этом у братца.

Марья Егоровна, видя, что ею не занимаются, вышла из комнаты.

Якко задумался. На что ему было решиться? Дожидаться ли долгого, долгого образования полудикой Эльсы, подвергать ее всем неприятностям непривычной жизни или махнуть рукой и возвратить ее на родину. При мысли о родине сердце его билось невольно: Эльса, подруга детства, казалась еще прелестнее, и расстаться с нею, расстаться навсегда казалось ему ужасным. Эльса поняла действие своего рассказа; она захлопала в ладоши, прыгнула к Якко на колени, схватила его за голову, прижала к себе; свежая атласистая грудь ее скользнула по лицу молодого человека, он вздрогнул и почти оттолкнул ее от себя.

Эльса заплакала. Якко выбежал из комнаты.

— Он не хочет и целовать меня, — проговорила Эльса сквозь слезы. — О! Это недаром, эта Мари приколдовала его; он с нею пляшет, он на нее так смотрит — хорошо, увидим… Недаром старые люди меня учили…

С этими словами Эльса побежала в свою комнату — и дверь на крючок; через час она вышла и тихонько пробралась в комнату Марьи Егоровны;

осмотрелась — видит: нет никого, поспешно приблизилась к постели и сунула что-то под перину.

Эльса обернулась — за нею машутся накрахмаленные лопасти чепчика, блещут глаза сквозь пару медных очков.

Из-под чепчика послышался грозный голос Анисьи-ключницы:

— Что ты это, матушка, здесь проказничаешь?

С сими словами старушка сунула руку под перину и вынула оттуда маленький сверток, побежала скорее к Федосье Кузьминишне — и началась потеха.

На общем совете с Анисьею и другими сенными девушками положено было раскрыть сверток. Раскрыли не без страха, не без приговорок — видят: две тряпочки, бумажка, уголек и глинка, все перетянуто накрест черною ниткою. Колдовство — нет ни малейшего сомнения!

За Эльсой — показывают — спрашивают — она лукаво смеется.

Уже поговаривали связать колдунью и представить в полицию, но, к счастью, возвратился Егор Петрович. Узнавши о причине суматохи, он наружно улыбнулся, но внутренне и сам притрухнул. «Кто ее знает?» — подумал он.

Помолчавши с минуту, он сказал: «Что мы ее

спрашиваем? Ведь она нас не понимает и рассказать не может. Полагать должно так, сглупа; вот вечером придет Иван Иванович, пускай он ее расспросит, что и зачем она это делала».

— Хорошо, батюшка, — отвечала Федосья Кузьминишна, — вы и видите, да не верите; быть по-вашему, только до тех пор позвольте мне припереть ее на крюк. Не шутка, батюшка, ведь Марья Егоровна-то нам не чужая.

Егор Петрович промолчал.

К вечеру выпустили бедную затворницу. Было уже около семи часов вечера; на дворе морозило; в гостиной Зверева затопили огромную шведскую печку; заслонки были распахнуты; свет из устья багровым туманом проходил по комнате; тень от окошек, освещенных полною луною, резко обозначалась на торцевом полу; две нагоревшие свечи стояли на столе и колебались от движения воздуха; все эти роды освещения мешались между собою; отраженные ими причудливые тени мелькали на потолке, на широком деревянном резном карнизе и на стенах, обитых черною кожею, с светящимися бляхами.

За столом сидели: Зверев, его жена и Якко. Казалось, они только что кончили длинный, неприятный разговор, за которым последовало

совершенное молчание. Наконец двери отворились, и вошла, как преступница, бледная, трепещущая Эльса. Якко с важным видом показал ей на стул, стоявший против огня. Эльса не хотела садиться, но Якко грозным голосом подтвердил свое приказание, и Эльса повиновалась.

Она села на стул, сложила руки и устремила в устье неподвижный взор.

— Не пугайся, Эльса, — сказал Якко по-фински, тихим голосом, — тебе никто не сделает зла; но скажи мне откровенно, что значит этот сверток, который ты видишь здесь на столе? Какое твое было намерение?

Эльса ничего не отвечала и все пристальнее устремляла глаза в устье очага; лицо ее разгорелось; локоны повисли на глаза; лунный свет широкою полосою ложился на ее белое платье; она трепетала всем телом, как пифия на очарованном треножнике.

— Отвечай же, — повторил Якко, устремив на Эльсу сердитые глаза.

— О чем ты спрашиваешь меня, Якко, — наконец сказала Эльса прерывающимся голосом. — Сверток безделица… ребяческая шутка… Я думала этим средством отучить тебя от этой Марии, которая хочет отнять тебя у меня… Но теперь не то…

совсем не то… Теперь… я все знаю, все вижу; теперь я сильна, и вы все… ничто… предо мною…

— Что ты говоришь, Эльса? — сказал Якко с видимым смятением. — Ты не помнишь себя.

Эльса засмеялась странным хохотом.

— Иль ты не видишь, — продолжала она, — там… далеко… в средине пламени… алые палаты моей сестрицы… Вот она… в венке из блестящих огней; она улыбается… она кивает мне головою… она сказывает, что я должна говорить тебе…

Тут Якко вспомнил слова пастора, хотел броситься к Эльсе и прекратить ее очарование; но любопытство и какая-то невидимая сила удержали его на стуле.

Эльса продолжала:

— Я еще была ребенком, когда старый Руси брал меня к себе на колени и садился против огня; он накрывал руками мою голову и, показывая на устье печи, говорил: «Эльса, Эльса, смотри свою сестрицу». Тогда я, неразумная, боялась, хотела вырваться из рук старика, но невольно глаза мои устремлялись на огонь и скоро уже не могли оторваться; скоро в глубине, посреди раскаленных угольев, я видела, как теперь вижу, великолепные палаты; там столбы из живого пламени вьются, тянутся в небо и не тухнут.

От них сыплются багряные искры и блестят на белой огнепальной стене: посреди тех палат мне являлось лицо ребенка, совершенно похожего на меня; оно улыбалось, манило меня к себе, исчезало в потоках пламени и снова появлялось с тою же улыбкою. «Сестрица, сестрица, — говорила она мне, — когда же мы с тобой соединимся?» И сердце мое рвалось к прекрасному ребенку, и он все улыбался и манил меня. Стоило мне подумать о чем-нибудь или старый Руси спрашивал меня, и с дальней стены срывалася пелена, и я видела все, что на земле и под землею, и горы, и леса, и пропасти водные, и людей, и слышала, что они говорили, видела, что они делали. «Беги отсюда, — говорит мне теперь сестрица, — здесь развлекут тебя, удалят тебя от меня, погасят, ты отвыкнешь понимать язык наш! На берегах Вуоксы люди не совратят тебя, там сосны и утесы безмолвны, луна светит своей живительной силой и духотворит грубое тело; там в лучах луны, в потоках пламени мы сольемся веселым хороводом, облетим всю землю, и вся земля для нас будет светла и прозрачна». Слышишь, Якко, что говорит сестрица? Тебя одного недостает нам; и тебя, неразумный, оживляла могучая сила старого Руси; ты наш, Якко, ты мой, и ничто

не разлучит меня с тобою; забудешь обо мне — вспомнишь в горькую минуту. Оставь этих людей, Якко; в наших живоогненных чертогах светло и радостно, там встретимся мы и в одну пламенную нить сольемся с тобою. Правда, еще не пришло мое время. «Скоро ли?» — спрашиваю у моей чудной сестры. «Не скоро, — отвечает она, — все вырастает по степеням, как дерево из зерна. Сперва на земле, потом под землею, а потом… над землею, Эльса, и нет границ нашей силе и нашему блаженству!»

Якко не дал ей продолжать.

— Тут происходит что-то странное, — сказал он Егору Петровичу, — она вне себя; я вам советую послать за лекарем.

— Да что ж она вам сказала? — спрашивал Егор Петрович.

— Ничего, — отвечал Якко, — вы не должны ее бояться; она больна, на нее находит… Пошлите за доктором, повторяю вам, пусть он ее увидит в этом положении.

— Пожалуй, — отвечал Егор Петрович. — Иван Христианович недалеко от нас живет и по вечерам бывает дома.

Послали за лекарем, а Эльса все сидела против огня, то смеялась, то говорила непонятные речи,

то складывала руки, как будто умоляя кого о чем. Якко с любопытством ее рассматривал, положив во что б ни стало дождаться разрешения этой загадки.

Через четверть часа пришел Иван Христианович, чопорный немец, в коричневом кафтане, с укладными пуговицами; в руках у него была трость с костяным набалдашником; он очень важно постукивал ею, поплевывая со стороны на сторону, ибо имел привычку беспрестанно жевать табак, что тогда почиталось универсальным лекарством от всех болезней.

— Где ж больная? — спросил он по-немецки.

— Меня почитают больною, — отвечала Эльса на немецком языке. Удивление Якко было невыразимо. Он знал, что в обыкновенном состоянии Эльса не знала ни слова по-немецки.

— Что же ты чувствуешь, мое милое дитя? — сказал Иван Христианович.

— Добрый лекарь, неразумный лекарь, ты хочешь лечить меня. Знаешь ли ты, кого ты хочешь лечить? Умеешь ли ты лечить огнем и пламенем? Смотри, сестрица смеется над тобою, добрый лекарь, неразумный лекарь.

Иван Христианович слушал, слушал ее с удивлением — нюхал табак и ничего не понимал.

Между тем огонь гас мало-помалу в очаге, луна сокрылась за ближним домом: с тем вместе уменьшалась говорливость Эльсы. Наконец она как будто проснулась.

— Где я? Что со мною? — сказала она по-фински. Доктор щупал у ней пульс, Зверев и Якко смотрели на нее с участием. Между тем Якко рассказал лекарю все происшедшее.

Нахмурив брови и усердно нюхая табак, Иван Христианович проговорил:

— Странное дело, но бывали такие примеры, от действия жара нервные духи подымаются и действуют на головной мозг; а оттого мозг приходит в нервное состояние, так и Цельзиус пишет; впрочем, пироманция, или гадание огнем, была известна и древним и производила у них подобные явления; странно, что она и доныне сохранилась. Но бояться нечего! Уложите больную в постель, я вам пришлю из дома одно славное лекарство, которое, как доказывает наш славный голландский врач Фан Андер[65], помогает от всех болезней, а именно: опиума. Давайте ей каждый день по четыре капли, да поите ее

[65] Примечания: 65

Диетические методы голландского врача Бонтекопа обыкновенно состояли: в постоянном курении табака, питии чая или кофия и в употреблении опиума при малейшем нездоровье.

больше кофеем, и вы увидите, что всю блажь с нее как рукой снимет.

На другой, на третий день бедная Эльса в самом деле была больна от действия универсального лекарства, на четвертый она уж почти не вставала с кресел; то делалось у ней волнение в крови, то сонливость.

Бедное дитя природы ничего не понимала, что с нею делают: зачем держат ее взаперти, зачем вливают в нее какое-то снадобье, которого действие, однако же, казалось ей довольно приятным; но часто она забывала все происходящее, и все ее внимание обращалось к герою финских преданий, славному Вейнемейнену. Она вспоминала, как он из щучьих ребер сделал себе кантелу, как не знал, откуда взять колки и волос на струны, и в забытьи напевала:

Рос в поляне дуб высокий:
Ветви ровные носил он
И по яблоку на ветви,
И на яблоке по шару
Золотому, а на шаре
По кукушке голосистой.
И кукушка куковала.

Долу золото струилось,
Серебро лилось из клева
Вниз, на холм золоторебрый,
На серебряную гору:
Вот отколь винты для арфы
И колки для струн взялися,
Из чего же струн добуду,
Где волос найти мне конских?
Вот, в проталине, он слышит —
Плачет девушка в долине,
Плачет – только вполовину,
Вполовину веселится,
Пеньем вечер сокращает
До заката, в ожиданьи.
Что найдет она супруга,
Что жених ее обнимет.
Старый, славный Вейнемейнен
Слышит жалобу девицы,
Ропот милого дитяти.
Он заводит речь и молвит:
«Подари мне дар, девица!
С головы один дай локон.

Пять волос мне поднеси ты,
Дай шестой еще вдобавок.
Чтоб у арфы были струны,
Чтобы звуки получило
Вечно юное веселье».
И дарит ему девица
С головы прекрасный локон,
Пять волос еще подносит,
Подает шестой вдобавок.
Вот отколь у арфы струны,
У веселья звуки взялись.[66]

Но вдруг голос Эльсы возвышается; глаза блистают, и она с гордостью напевает:

Так играет Вейнемейнен:
Мощный звон летит от арфы,
Долы всходят, выси никнут,
Никнут выспренные земли.
Земли низменные всходят,
Горы твердые трепещут,
Откликаются утесы,

---

[66] Примечания: 66

Эта и последующие финские народные песни взяты, с некоторыми пропусками, из Гротова перевода (см. «Современник», 1840).

Жнивы вьются в пляске, камни
Расседаются на бреге,
Сосны зыблются в восторге.
Сладкий звон далеко слышен,
Слышен он в шести селеньях,
Оглашает семь приходов,
Птицы стаями густыми
Прилетают и теснятся
Вкруг героя-песнопевца.
Суомийской арфы сладость
Внял орел в гнезде высоком
И, птенцов позабывая,
В незнакомый край несется,
Чтобы кантелу услышать,
Чтоб насытиться восторгом.
Царь лесок с косматым строем
Пляшет мирно той порою,
А наш старый Вейнемейнен
Восхитительно играет,
Тоны дивные выводит.
Как играл в сосновом доме,
Откликался кров высокий,

Окна в радости дрожали.
Пол звенел, мощенный костью,
Пели своды золотые.
Проходил ли он меж сосен,
Шел ли меж высоких елей —
Сосны низко преклонялись,
Ели гнулися приветно,
Шишки падали на землю,
Вкруг корней ложились иглы.
Углублялся ли он в рощи —
Рощи радовались громко;
По лугам ли проходил он —
У цветов вскрывались чаши,
Долу стебли поникали.

Но часто слова песни сближались с ее собственным положением, и она жалобным напевом отвечала Вейнемейнену, когда он спрашивает плакучую развесистую березку, о чем она плачет:

Про меня иной толкует,
А иной тому и верит,
Будто в радости живу я,

Будто вечно веселюся.
Оттого, что я, бедняжка,
Весела кажусь и в горе,
Редко жалуюсь на муки,
У меня, у горемыки,
У страдалицы, ведь часто
Летом рвет пастух одежду;
У меня, у горемыки,
У страдалицы, ведь часто
На печальном здешнем месте,
Середи лугов широких
Ветви, листья отнимают,
Ствол срубают на пожогу,
На дрова нещадно колют.
Были люди и точили
Топоры свои на гибель
Головы моей победной.
Оттого весь век горюю,
В одиночестве я плачу,
Что беспомощна, забыта,
Беззащитна, я осталась
Здесь для встречи непогоды,

Как зима приходит злая.

И к концу песни Эльса начинала плакать и плакала горько. Так заставал ее Якко, и все его старание утешить, вразумить ее было тщетно. Странная привязанность к родине еще более усилилась в Эльсе ее затворничеством. Якко не знал, что и делать: в продолжение трех месяцев образование Эльсы нимало не подвинулось; ее понятия не развивались; все народные предрассудки пребывали во всей силе; оставить ее в доме Зверева не было возможности; жениться на ней — одна эта мысль обдавала Якко холодом; он невольно сравнивал свое состояние с прекрасною машиною, в которой было только одно неудачно сделанное колесо, но которое нарушало порядок действия всех других колес; он не мог не сознаться, что Эльса была для него помехою в жизни; его внутреннее неудовольствие отражалось в его словах, а Эльса оттого еще пуще горевала.

А между тем Эльса была прекрасна, между тем в ее глазах светилось ему родное небо, баснословный мир детства, и Якко по-прежнему уходил домой с отчаянием в сердце.

Наступил ноябрь месяц. В продолжение нескольких дней лил сильный дождь, и морской

ветер выгонял Неву из берегов. Однажды утром Якко сидел в уединенной комнатке, отведенной ему в адмиралтействе, и, углубившись в работу, не замечал, что вокруг него происходило; между тем весь город был в волнении, вода возвысилась непомерно, жители прибережных частей города перебирали свои пожитки на чердаки, а в некоторых местах уже взбирались и на крыши; высокой гранитной набережной еще не существовало; ныне незамечаемая прибыль воды в 1722 году была истинным бедствием для города; Якко взглянул в окошко: адмиралтейская площадь обратилась в море, по ней неслися лодки, бревна, крыши, гробы. Дом Зверева находился в части города, наиболее подверженной наводнению; мысль об участи, ожидавшей это семейство, поразила Якко; но как помочь ему, как дойти до него? Волны уже били в верхнее звено нижних этажей! В отчаянии ломая руки, смотрел Якко на разлив Невы и приискивал средство выйти из дома чрез окошко. В эту минуту он смотрит: небольшой катер с переломленною мачтою несется по Неве; два матроса тщетно стараются вытащить обломок мачты, погрузившейся в воду, или перерубить веревки; уже катер перегнуло на одну сторону; на корме стоит человек высокого

роста; черные его волосы разметаны по плечам; одною рукою он стиснул руль, другою ободряет потерявшихся матросов, но — еще минута, и катер должен опрокинуться. Якко смотрит, не верит глазам своим — это сам государь!

При этом виде молодой финн забывает всю опасность. Сильною рукою он выбивает стекольную раму и бросается вон из окошка; в это время крепко связанный плот прибило к стене дома; от движения плота Якко сильно ударился головою об стену и почти в беспамятстве ухватился за скользкие бревна; в таком положении его застали люди, находившиеся на одной из адмиралтейских лодок.

Едва Якко пришел в чувство, первый его вопрос был о государе. «Пересел на другой катер», — отвечали ему; тогда Якко вспомнил снова о своем семействе, и лодка быстро повернула по направлению к дому Зверева. Подъезжая к нему, Якко увидел, что вода выливалась уже из окошек, — во всем доме не было и признака живого человека. Скорбь сжала сердце молодого финна; погибли последние люди, которых он мог называть родными. Но скоро внимание его было обращено на большой катер, который старался на веслах приблизиться к дому; смотрит, в катере: Зверев,

жена его, все домашние — катер ближе, ближе, Якко различает всех в лицо и не видит лишь одной Эльсы.

— А Эльса? — вскричал он в отчаянии.

— Не знаем! — печально отвечал ему Зверев.

Молодой человек упал без чувств в лодку.

К вечеру вода сбыла. Жители мало-помалу возвращались в дома, стараясь изгладить следы наводнения, и скоро в юной, отважной столице все пришло в обыкновенный порядок.

В спальной Зверева лежал наш Якко с распухнувшей головою и в припадке сильной горячки. Он метался на кровати, то произносил непонятные слова, то призывал домашних, Эльсу. Так прошли долгие дни. Наконец Якко пришел в себя, и первое лицо, которое узнала его ослабевшая память, была Марья Егоровна; она сидела возле кровати и с участием смотрела на больного.

— Где я? Что со мною? — спросил Якко.

— У людей, которые вас любят, — отвечал тихий голос.

Все возобновилось в памяти молодого человека; он взял Марью Егоровну за руку и крепко прижал ее к губам; Марья Егоровна опустила глазки и закраснелась.

Вошла в комнату Федосья Кузьминишна.

— Что сталось с Эльсой? — спросил Якко.

— А, слава Богу! Очнулся, батюшка, — ведь три недели был в забытьи, легко ли дело; ну что твоя сестрица — живехонька, батюшка, уехала к своим с каким-то чухною; уже мало ли Егор Петрович хлопотал — насилу проведали, куда она запропастилась. На воск какой-то, что ли?

Действительно, во время наводнения, когда водою уже наполнился двор и Егор Петрович сбирался с домашними сесть на подъехавший с улицы адмиралтейский катер, в хлопотах забыли об Эльсе; в это время она была в своей комнате, выходившей окнами во двор и запертой по благоразумному распоряжению Федосьи Кузьминишны; бедная затворница с ужасом смотрела на прибывающую ежеминутно воду. «Все кончилось, — говорила она, — рутцы напустили на вейнелейсов море — все должно погибнуть; нет спасения», — и с сими словами она сложила руки, села против окошка и хладнокровно глядела, как вода уже приподнимала крышу низкого амбара. Вдруг смотрит, на дворе является лодка, в лодке знакомое лицо. «Юссо, Юссо! — вскричала Эльса, отворив широкую форточку. — Я здесь, я здесь! Спаси меня!»

И ловкий финн приблизился к окошку, уце-

пился за ставни, помог Эльсе пробраться на свой челнок, усадил ее, ударил веслами, и скоро челнок исчез из вида. Между тем, садясь в катер, старик Зверев вспомнил об Эльсе; скорее к ней в комнату — нет ее, бегали по всему дому, всходили на чердаки — пропала Эльса; минуты были дороги, управляющий катером говорил, что он должен еще многим домам подать помощь, — и Егора Петровича почти силою втащили в катер.

Якко с каждым днем оправлялся. Однажды, когда Марья Егоровна вошла к нему в комнату, он сказал:

— Вы уже забыли обо мне, Марья Егоровна, так редко навещаете меня.

— Когда вы были опасны, — отвечала девушка, — я, видит Бог, не отходила от вас; но теперь вы, слава Богу, уже начинаете выздоравливать, и мне одной с вами оставаться неприлично.

— Нет ли средства помочь этому горю? — сказал, улыбаясь, Иван Иванович.

— Какое же? Я не знаю.

— Очень простое — быть моею женою! Что скажете вы на это, Марья Егоровна?

Марья Егоровна проговорила обыкновенное в таких случаях: «Я от себя не завишу», и молодой человек нежно поцеловал ее руку.

Со стариками было переговорено; они дали свое благословение.

— Но прежде свадьбы мне остается еще одно дело, — сказал Якко Егору Петровичу. — Я хочу устроить Эльсу.

— Доброе дело, — отвечал старик, — так и следует.

Через несколько дней сани мчали молодого финна к его родимому берегу. Верст за сорок до Иматры он уже стал спрашивать по хижинам об Эльсе, внучке старого Руси; но жители ему отвечали, что Иматра от них далеко-далеко и что они никого там не знают.

Верст за двадцать рассказы были другие. «Как не знать Эльсы! — говорили финны. — Такой знахарки у нас уже давно не бывало; все знает, что ни спроси; заболеет ли человек, али какое животное, придешь к ней, поклонишься — с живой руки снимет. Зато скоро счастлива будет; Юссо говорит, что непременно на ней женится».

Быстро мчались широкие сани по глубокому снегу, туман лежал на равнинах, зеленые ели тихо качались над сугробами, месяц мелькал из облаков, и бледными его лучами прорезывались слои тумана — туман расседался, пропускал

светлую полосу и снова заволакивал придорожные утесы. Грустно было на душе Якко — ехал он по земле родной, которая была уже для него чужая; иногда воображению его представлялся Петербург со своею деятельною, просвещенною жизнью, и снова невольно взор финна обращался на печальную картину родимого края.

Недалеко от Иматры Якко заметил в избушке, стоявшей уединенно посреди скал, необыкновенное освещение; частью любопытство, частью какое-то невольное чувство заставили его остановиться; Якко вышел из саней — к избушке, смотрит в волоковое окно — там какой-то праздник — свадьба или что-то подобное. Рассмотрев попристальнее, Якко скоро заметил в избушке Эльсу; она в финском платье, довольно богатом, сидела на почетном месте, все обращались с нею с величайшим уважением, потчевали ее и кланялись. Эльса была весела и довольна и, смеясь, рассказывала, как рутцы напустили на вейнелейсов море и хотели утопить ее и как она с Юссо обманула их.

Якко задумался: «Здесь она весела, уважена всеми, говорит своим языком, она свободна, счастлива; там она печальна, связана во всех движениях, предмет насмешек и ненависти. Зачем

я отниму у ней ее счастье в надежде другого, ей непонятного и, может быть, несбыточного?»

В это время Эльса встала, распрощалась с хозяевами — почетнейшие пошли провожать ее, толпа прошла мимо Якко, он видел Эльсу в двух шагах от себя, но промолчал и только печально смотрел вслед ей, пока она не скрылась в тумане. Тогда Якко вошел в хижину и, отдавая хозяину кошелек с деньгами, сказал: «Скажите Эльсе, внучке старого Руси, что Якко ей посылает это на свадьбу». Якко знал честность своих единоземцев и был уверен, что кошелек дойдет по назначению. Пока хозяева удивлялись такому несметному богатству, Якко вышел из хижины, взглянул еще раз на родные утесы.

— Последняя нить порвана, — сказал он самому себе, — земля моя — мне чужая. Прощай же, Суомия, прощай навсегда! И здравствуй Россия, моя отчизна!

Молодой финн закрыл глаза рукою, бросился в сани — колокольчик зазвенел!

На берегах Вуоксы до сих пор сохраняется предание о девушке, которую богатый барин увез было в Петербург и которая убежала от богатства из любви к своей лачужке; рассказывают и о том, как в старину незнакомые люди, или духи,

в богатом платье вдруг являлись в хижинах и оставляли на столе деньги, прося их отдать Эльсе, старой колдунье.

II
Эльса

Посв. графу В. А. Соллогубу

Errant, erraverunt ac errabunt, eo quod proprium agens non posuerunt Philosophi.
Pontanus in «Theatro Alchemical»[67]

Мы сидели перед огнем; вдруг отец ударил меня так больно, что я заплакал. «Не плачь, – сказал отец, – ты ни в чем не провинился; сию минуту Саламандра появилась в огне; я тебя ударил, чтоб ты не забыл о сем и передал это событие своим детям».
Подлинные записки Бенвенуто Челлини

В Москве жил-был у меня дядюшка, человек немолодой, но с умом, сердцем и образованностью — а в этих трех вещах, говорят, скрывается секрет никогда не стариться. Дядюшка не выживал из ума, потому что не выживал из людей;

---

[67] Примечания: 67

Заблуждались, заблуждаются и будут заблуждаться, потому что философы не установили, что есть собственно движущая сила. Иоанн Понтанус в «Алхимическом театре» (*лат.*).

три поколения прошли мимо него, и он понимал язык каждого; новизна его не пугала, потому что ничто не было для него ново; постоянно следя за чудною жизнию науки, он привык видеть естественное развитие этого огромного дерева, где беспрестанно из открытия являлось открытие, из наблюдения наблюдение, из мысли вырастала другая мысль, которая, в свою очередь, выводила из земли первоначальную. Оттого разговор его всегда был привлекателен, хотя странен; в нем не было этих суждений, давно вымоченных и выдавленных, как старая свекловица на сахарном заводе; в нем не было этих фраз, которые у иных людей вас ожидают в том или другом случае, как надпись над банкою в кунсткамере или как припев водевильного куплета; но со многими из его понятий нельзя было согласиться: он утверждал, наприм., что знать много, очень много совсем немудрено; что в старину люди были хуже нас, но гораздо больше нас знали и что, наприм., никогда знания человеческие не достигали до такой обширности, как перед потопом!.. Надобно к сему прибавить, что дядя в молодости много путешествовал и — тогда была на это мода — перебывал членом всех возможных мистических обществ: он и варил золото, и вызывал духов, прыгал и

заставлял прыгать на восковые гвозди или через ковер, игравший роль бездонной пропасти, и проч. и проч. Много чудного сохранилось в его памяти об этих предметах; но, говоря о них, он употреблял какой-то странный способ выражения, вместе и важный и насмешливый, так что нельзя, бывало, угадать, в самом ли деле дядя верил своим словам или смеялся над ними. Когда мы приставали к нему и требовали настоятельно, чтоб сказал, шутит он или говорит правду, и упрашивали его бросить двусмысленный тон, дядя улыбался с простодушным лукавством и замечал, что без этого тона нельзя обойтись, говоря о многих вещах в этом мире, а особливо о вещах не совсем этого мира.

Однажды я застал старика поутру за чашкою кофе.

— Что это значит, дядюшка? Вы прежде, кажется, поутру не кушали кофе?

— Да что мне делать с вашими учеными и докторами? Вот твердили мне, что две чашки кофе в день — поутру и после обеда — для меня слишком много: я отказался от утренней чашки и спокойно дожидался моей послеобеденной; а вот недавно лукавый дернул одного немца написать целую книгу (с этими словами дядюшка ударил

рукою по латинскому in-quarto) в доказательство, что нет ничего вреднее, как кофе после обеда, и так убедил меня, злодей, что я с той же минуты пожаловал послеобеденную чашку в утреннюю.

— А между тем на вакансию послеобеденной поступит другая, дядюшка, не так ли?

Дядя махнул рукою.

— Вы, молодые люди, никогда не верите нам, старикам. Вот ты, я чаю, не поверишь и тому, наприм., что может быть шум и крик в доме без всякой видимой причины?

— Полуверю…

— Половина ни в чем никуда не годится; все в природе есть целость — не так ли… как тебя, шеллингист или гегельянец?

— И то и другое, а может быть, ни то ни другое…

— Что-что? Сомнение? Скептицизм?.. Какая старина! Но в этом случае, сделай милость, не будь скептиком, ибо что я говорю, то правда. Ко мне сию минуту приходил хозяин дома и рассказал то, что, впрочем, я давно знаю. Да! Я знаю этот дом уже лет сорок; он в мое время принадлежал князю А., с которым мы были дружны в молодости. Тогда еще дворяне жили по-боярски: в доме на каждом шагу видно было, что у хозяина

были отец, дед, прадед и предки, чего не заметишь в нынешних наемных квартирах, где наши исторические имена так скучно проживают и проживаются…

— Дядюшка! Это мне не в бровь, а прямо в глаз…

— Знаю, знаю, новое поколение!..

Отцы наши жили небрежно — они не подорожили ни вашим именем, ни здоровьем; я и не виню вас: вы очищаете грехи отцовские. Но в мое время не так было: дед нынешнего наследника тридцать лет жил безвыездно в своем московском боярском доме; им кормился целый околодок; его именем называлась целая улица, ибо он в точности исполнял боярскую должность: делал добро не считая и забывая — а с его легкой и щедрой руки поднялось несколько купцов, которых дети теперь миллионеры. В его всегда развязанном кошельке черпал отец, отдававший сына в училище, промышленник, заводивший ткацкий стан; по милости этого кошелька образовались несколько хороших живописцев в академии, целый оркестр музыкантов… Впрочем, тогда так делали многие, и поверь самовидцу, что нынешнему богатству московского среднего класса и разрастающейся промышленности

первое начало было положено тогдашнею боярскою даровитостью, которая, однако ж, умела не проживаться. Я часто бывал у князя; еще тогда, т. е. лет за сорок, он показывал мне комнату, в которой иногда по ночам слышен был странный шум, похожий на вопли; я даже нарочно ночевал несколько дней сряду в княжеском доме и сам два раза слышал этот шум. Едва мы отворяли дверь — все утихало; комната была пуста, и все на своем месте. В эту комнату призываемы были и ученые, и колдуны, и заговорщики — ничто не помогло и ничто ничего не объяснило. С тех пор мне было время забыть об этом доме; но на днях последний наследник продал заочно отцовский дом здешнему, мне знакомому купцу, который в боярских палатах хочет завести какую-то прядильную фабрику; третьего дня он пришел ко мне и, рассказывая о выгодах своей покупки (ибо я его приучил меня не обманывать), заметил, что одно только худо. «Что же такое?» — спросил я. «Да так, — отвечал он, почесываясь и улыбаясь, — как мы спроста говорим, купил я дом-то с домовыми». — «Как с домовыми?» — «Да так, батюшка; едва мы переселились в него, как ночью услышали, кто-то в зале вопит: мы подумали, что там кто остался из рабочих; пришли — все тихо,

а в покое пустехонько. На другую ночь — то же и на третью ночь то же: завопит, завопит, да вдруг и стихнет, а там опять; этак бывает раза два-три в ночь, так что ужас на всех навело. Не знаете ли, батюшка, какого средствия?..» Я поехал с купцом в его новый дом и без труда узнал ту самую комнату, в которой я делал свои наблюдения еще при покойном князе, — в ней не было никакой перемены.

— Что же вы присоветовали бедному купцу? — спросил я у дядюшки.

— Я присоветовал ему поставить в этой огромной комнате паровую машину, уверив его, что она имеет особенное свойство выгонять домовых. Но пока еще комната не переделана, не хочешь ли ты, господин физик, посмотреть ее и по новым теориям объяснить это странное явление? Ведь вы нынче беретесь все объяснять!

— Нет, мы нынче беремся ничего не объяснять… Мы утверждаем, что всякая вещь есть, потому что она есть…

— Это очень полезно для хода наук, благоразумно и избавляет от труда искать и забираться вдаль…

— Однако ж комнату посмотреть любопытно…

— Хорошо, — сказал дядюшка, — карету! Только

уверься, что все это не мечта воображения; что я, человек хладнокровный, слышал эти вопли собственными ушами. Впрочем, нельзя не поверить и купцу.

Когда мы вошли в старобоярский дом, я с грустью посмотрел на княжеские гербы, которые щедро рассыпаны были по стенам; на ряды портретов фамилии, которой начало терялось в баснословных временах нашей истории; на старинные хрустальные люстры, которыми освещались боярские пиры, открытые для всех мимоходящих; на кабинет князя, с его огромными креслами, где он, может быть, думал, на какое новое добро бросить свое золото, — и сердце мое сжалось при мысли, что грубая механическая работа заступит место высоких нравственных деяний. Дядя молчал, но, кажется, думал то же, а словоохотливый хозяин еще докучал нам рассказами: «Здесь будет сушильня, здесь чесальня, здесь белильня, в кабинете складочная для хлама, и пр. т. п.». Ситец и набойка! Стоите ли вы этого? Под вашими станами исчезает память о древнем добре наших предков, исчезает история! В этих размышлениях мы совсем позабыли предмет нашего посещения. Наконец хозяин растворил дверь в огромную залу, освещенную сверху: «Вот

здесь, по совету вашему, батюшка, поставлю паровик; оно и очень удобно. Вот здесь-то…» Хозяин сделал значительную мину и перекрестился.

Я осмотрел со вниманием эту странную комнату и наконец сказал дядюшке:

— Это не комната, а духовой инструмент.

— Вот что! — сказал дядя, насмешливо улыбаясь. — Сделай милость, объясни, да пояснее. Ведь нынче вы гоняетесь за ясностью — подумаешь в самом деле, что есть что-нибудь ясное для человека на сем свете! Объясни, объясни.

— Объяснить трудно, но догадываться можно. Я не шучу. В самом деле, эта комната похожа на духовой инструмент. Посмотрите на эту длинную галерею, которая, как труба, примыкает к этой зале: эта зала играет роль раструба валторны, а в самой зале взгляните на свод, сделанный в потолке: этот свод — отрезок конуса, на этот свод рамы окошек опускаются в виде отрезка октаэдра…

— Пощади, пощади! — вскричал дядя. — Если не меня, то хоть по крайней мере эту невинность! (С сими словами он указал мне хозяина дома, который, выпучив глаза, слушал меня со всевозможным вниманием и притакивал.) Вы, батюшка Пантелей Артамонович, не дивитесь: мой племянник мастер заговаривать; а вы зна-

ете, в «заговорах» бывают невесть какие слова: и конусы, и октаэдры…

— Понимаем, понимаем, батюшка, — отвечал хозяин.

— Какое же заключение? — спросил меня дядя.

— А такое, что всякий звук в этой галерее, которая построена сводом, проходя в эту залу, должен удесятериться. Теперь вообразите, что этот звук попадет в тон этого свода — тогда звук наверное усилится всотеро; прибавьте к этому эхо, производимое наклоненными рамами, и тогда уверитесь, что писк какой-нибудь крысы в этом акустическом микроскопе покажется похожим на вопль человека…

— Совершенно справедливо, — заметил дядя, — только ты, человек девятнадцатого века, должен доказать слова свои опытом…

Я пошел в галерею, шаркал, пел, свистал — все эти звуки раздавались громко в галерее, но в зале ничего подобного воплю не делалось. Дядя улыбался; хозяин дома смотрел на все это с удивлением, не зная, что перед ним происходит — шутка или дело.

Я измучился, ходя по галерее.

— Ну, что скажешь, господин ученый? — сказал мне дядя по-французски.

— Скажу то, что я вам верю, верю и хозяину дома, но…

— Но тебе хочется самому испытать, не обманываем ли мы тебя?..

— Почти так, дядюшка; опыт будет чище, как говорят химики.

— Если за тем дело стало, то изволь! Вот, Пантелей Артамонович, — продолжал дядя, обращаясь к хозяину дома, — мой дока говорит, что ему стоит провести у вас одну ночь, так он разом выведет домовых… У него есть такое зелье.

Хозяин кланялся и благодарил.

— А чтоб тебе не так было страшно, — прибавил дядя, — господин философ, я у тебя буду для компании.

Вечером мы явились на сторожку. Нам отвели маленькую комнату возле двери очарованной залы. Я принял все возможные предосторожности, осмотрел все прилежащие комнаты, запер все двери, везде зажег множество свечей, а из кармана вынул несколько нумеров политических французских газет. Дядя был сумрачнее обыкновенного.

— Это что такое? — спросил он, показывая на газеты.

— Это мое зелье, — отвечал я, — то зелье, о ко-

тором вы говорили хозяину дома.

— Подлинно зелье, — возразил дядя, — и даже очень действительное; ничто столько не удаляет человека от внутренней, таинственной, настоящей его жизни, ничто его столько не делает глухим и немым, как картина этих мелких страстишек, мелких преступлений, которая называется политическим миром…

— Что делать? Человек принужден жить в этом мире…

— То есть хочет жить. Его скотинке очень нравится переливать из пустого в порожнее и уверять себя, что занимается чем-то очень важным и дельным. Ей по плечу все эти маленькие хитрости, все эти маленькие подлости для маленьких целей. Не знают эти господа, как они портят воздух, которым мы дышим!

— Портят воздух?

— Да еще как!

Я засмеялся.

— Любопытно было бы исследовать, — сказал я, — какое химическое изменение производят газеты в воздухе…

— Исследуй лучше, господин ученый, отчего пылинка мускуса наполняет своим запахом целую комнату. Ты, верно, слыхал, что импера-

трица Жозефина очень любила мускус. Недавно вошли в комнату, которую она занимала тому лет тридцать; в течение того времени эту комнату и мыли, и проветривали, и мебели в ней переменяли — что же? Запах мускуса в ней все-таки до сих пор остался.

— Об этом было во всех журналах; но это ничего не доказывает, известна делимость мускуса…

— Известна? — повторил дядя, захохотав. — Если так, то поздравляю. А известно ли тебе, почему ты не войдешь в комнату больного заразительною болезнию?

— Без сомнения! Потому что от испарений, от дыхания больного составляется болезненная, заразительная атмосфера…

— Болезненная атмосфера! А ты думаешь, дитя, что та сила, которая в тысячу крат сильнее телесного дыхания и материальной делимости, сила преступной мысли, преступного чувства, преступного слова или дела не производит вокруг себя болезненной, тлетворной атмосферы? Скажи, неужели ты не замечал на себе, что ты легче дышишь в присутствии доброго человека, нервы твои успокаиваются, как бы благовонный елей пролился на них, голова светлее, сердце бьется ровно и весело, и, напротив, невольно

дух занимает в присутствии подлеца, что-то тяготит тебя, давит; мысли сжаты, сердце бьется тоскливо, ты боишься устремить свои глаза против такого человека, как будто стыдишься за него или боишься, чтоб он своим взором не прожег твоей внутренности?.. Инстинкт тебя не обманывает! Верь, молодой человек, что вокруг каждой мысли, каждого чувства, каждого слова и дела образуется очарованный круг, которому невольно подчиняются попавшие в него менее мощные мысли, чувства и дела; эта истина современна миру; грубая эмблема ее сохранилась в тех очарованных кругах, которыми очерчивают себя сказочные волхвы.

— Все это может быть очень справедливо, если может быть доказано.

— Доказано, доказано! — повторил дядя с сердцем. — Да имеете ли вы способность доказывать? Что у вас доказано?..

— Очень немногое, но по крайней мере в эту минуту доказано, например, то, что эта свеча стоит на столе, потому что я ее вижу…

Дядя захохотал.

— Видишь? Видишь? А по какому праву ты видишь? По какому праву ты думаешь, что ты видишь? Кто сказал тебе, что ты видишь? Кто

сказал тебе, что перед тобою свеча? Я, напротив, уверяю тебя, что не свеча теперь перед тобою; докажи мне противное.

Я захохотал в свою очередь.

— А я вас уверяю, что теперь на луне дают большой концерт, на который собрались все лунные жители; докажите мне противное.

— Так! — вскричал дядя. — Вот ваша логика XIX века! Дальше ее вы ничего не видите. Ты, разумеется, прав в отношении к ней, но она-то не права в отношении ко мне. Смейся, смейся, господин философ, но достоверно то, что есть места, к которым как бы привязано все прошедшее, на которых таинственными буквами начертаны для людей, отдаленных от нас столетиями, их мысли, их воля… Не смейся; мне также на днях довелось посмеяться над вашими учеными, которые прокаливали и вымачивали намагнетизированные вещи и потом очень были удивлены, что, несмотря на все их проделки, эти вещи одним прикосновением наводили магнетический сон на сомнамбулов… Материалисты! Хотели прокалить и вымочить волю магнетизера! Вам надобны факты? Хорошо! Знаешь ли ты, господин ученый, что есть люди, которые носят с собою все дела свои? В молодости я знал одного чело-

века, который обольстил девушку, и несчастная кинулась в реку. Что же? Как скоро он начинал рассказывать об этом, волосы его подымались дыбом, лицо бледнело, он весь трепетал; в эту минуту он видел перед собою, как я теперь вижу тебя, реку, несчастную девушку, ее предсмертные муки…

— А! Знаю, знаю! Эту комедию очень хорошо представляет один мой знакомый…

— Да, я знаю, что это происшествие обращено в шутку; но его основа истинная: я знал очень хорошо человека, с которым это случилось, и уверяю тебя, что для него оно не было шуткой, а доказательство — он умер, замученный этим видением…

— Позвольте, однако ж, вам заметить, дядюшка, что вы недаром завели такой разговор. Вам хочется раздражить мое воображение, приготовить меня к необычайному, потом напугать меня, чтоб после, по вашему обыкновению, вдоволь посмеяться и надо мною, и над нашим веком, и над нашими знаниями.

Дядя улыбнулся своей неопределенной улыбкой.

— Читай же свое зелье, — сказал он и с сими словами вынул из кармана книгу.

— Что я вижу? — вскричал я. — Да это «Брюсов календарь»! Так вот откуда вы почерпаете свою мудрость, почтеннейший дядюшка? Позвольте мне, в свою очередь, посмеяться.

— В этой книге много вздора, — отвечал дядя с полуважным и с полунасмешливым видом, — но в этом виноват не сочинитель… Как бы то ни было, мне эта книга нужна: сегодня я хочу проверить одну цифру, которая кажется мне сомнительною.

Уже было одиннадцать часов вечера; все в доме улеглись; на улицах смолкло; лишь с каланчей раздавались протяжные оклики часовых и терялись в отдалении; свечи нагорели, и трепещущие тени ложились по карнизам, украшенным княжескими гербами; все было тихо.

Газеты были интересны в эту минуту; читая их, я совершенно забылся; все мое внимание было устремлено на этот положительный европейский мир с его деятельностью, промышленностью, страстями, паровыми машинами. Особенно статья о железных дорогах очень занимала меня, и невольно в душе моей возбуждалась гордость при мысли о исполинских предприятиях промышленности нашего времени. Словом, я весь углубился в чтение, как вдруг… Верить ли?.. Нет,

это не обман… Точно, в очарованной зале раздалось, и очень явственно, стенание. Никогда я не забуду этой минуты; до сих пор эти звуки раздаются в ушах моих. Этот стон не походил ни на голос человека, ни на крик животного, но в нем было нечто невыразимо грустное; он проникал во внутренность души, его нельзя было слушать без особенного волнения; казалось, этот звук повторялся в самой глубине моего сердца… В эту минуту пробило двенадцать часов; бой часов привел меня в себя: я бросился к дверям залы — в ней все было тихо. Поставленные мною свечи на столах горели спокойно; все двери были заперты, и в зале никого не было. Я снова обшарил все стены, заглянул в соседние комнаты — все было тихо и спокойно. Невольно смущенный, возвратился я в комнату дяди: он сидел спокойно, внимательно пересматривал свою книгу и делал в ней какие-то отметки.

— Слышал? — сказал он.

— Слышал, — отвечал я ему.

— Понимаешь?

— Нисколько.

— Ну, может быть, это был скрип двери, — продолжал дядя своим насмешливым тоном.

Я молчал. Дядя продолжал:

— Хочешь ли еще оставаться?

— Хоть до утра. Но почему нам не войти в залу?

— Я не знаю наверное, не помешает ли это нашему опыту. Подождем еще второго раза; если хочешь, сделаем так: я пойду в ту комнату, в которую вход с противоположной стороны залы; ты останешься здесь; оба станем у дверей и в минуту вопля войдем в залу в одно время.

Я согласился, хотя, признаюсь, на меня находил ребяческий страх и мне жутко было оставаться одному в комнате. Сердце мое сильно билось, стенание беспрестанно отдавалось в ушах моих.

Я старался прийти в себя, вычисляя все акустические возможности образования такого звука. Между тем одною рукою я взял свечу, а другую положил на ручку дверей, чтоб быть готовым всякую минуту: не знаю, долго ли я пробыл в сем положении; все было вокруг меня тихо; я слышал, казалось, трепетание моего пульса; вдруг, когда я хотел отойти уже от дверей, возле нее самой, под моим ухом, снова раздался вопль; но этот вопль имел другой характер: он также не походил ни на какой из известных мне звуков, а казался более выражением гнева, нежели грусти.

Холод пробежал по моим жилам. Однако ж я

быстро отворил дверь и чуть было не отступил назад, когда на другом конце залы увидел человеческий образ… Только через минуту я узнал в нем лицо дяди, который, по условию, отворил свою дверь в одну минуту со мною.

— Слышал? — повторил дядя своим обыкновенным тоном.

— Странно, очень странно! — отвечал я. — Теперь слушайте, дядюшка; нужно испытать последнее: останемся в этой комнате и посмотрим, точно ли в ней происходят эти страшные явления.

— Согласен, — отвечал дядя, — хотя, признаюсь тебе, я по особенным причинам не хотел бы здесь оставаться, да и за успех не ручаюсь. Впрочем, — прибавил дядя, подумав немного, — испытаем.

Я снова осмотрел все соседние комнаты, все двери, поправил свечи и, чтоб дать другое направление своим мыслям, принялся снова за свою газету; мы уселись посредине залы возле ломберного стола; дядя чертил на нем с большим вниманием какие-то цифры и непонятные мне знаки.

— Что это такое? — спросил я.

— Ничего, — отвечал дядя тоном более важным обыкновенного. — Это касается до меня одного;

ты вне этой сферы.

— Дядюшка! — вскричал я. — Бога ради, прочь эту таинственность! Я желаю теперь сохранить все присутствие духа.

Мы замолчали. Более получаса продолжалась совершенная тишина, как вдруг… Как выразить мое удивление! Из глубины залы послышалось снова стенание, сперва тихое, потом громче, громче… наконец оно раздалось над самым моим ухом. На этот раз я явственно различил два звука, в которых выражалось какое-то неутешное отчаяние, гнев, печаль — словом, все скорбное, что только могла изобресть душа человека; я вскочил со стула, взглянул на дядю — он сам казался встревоженным и, сильно опираясь на стол, с беспокойством следовал за движением звука… Но как выразить мой ужас, когда, взглянув на противоположную стену, я увидел между тенями, которые ложились от меня и от моего собеседника, еще третью тень, весьма явственную, но которой образа уловить было невозможно, ибо он беспрестанно изменялся. Это было нечто невыразимое, похожее на человеческую фигуру, которое, казалось, рвалось и билось, беспрестанно меняя свою форму; тут было подобие головы, рук, которые то вытягивались, то сжимались,

как фигуры на оптических картинах, известных под названием «аморфозных». Все это продолжалось не более минуты… Я оглянулся назад: в зале никого не было, кроме нас; я взглянул опять на стену — непонятная тень бледнела, с тем вместе и вопль терялся в другом конце залы. Казалось, он пронесся мимо нас.

— Ну, слава Богу, исчезло! — сказал дядя, отнимая руки от стола. — Несчастные, — прибавил он, вздохнувши, — когда же вы заплатите последний динарий?

Через несколько минут дядя успокоился, принял опять свой насмешливый вид и сказал:

— Что? Слышал?

— Слышал, — отвечал я.

— Видел?

— Видел, — отвечал я.

— Чист ли опыт, господин испытатель?

Я молчал.

— Теперь можно спокойно отправиться домой, — продолжал дядя, — ничего больше не будет.

— Почему вы это знаете?

— Три эпохи жизни — три стенания.

— Бога ради, оставьте свой таинственный тон. Постараемтесь лучше общими силами истолко-

вать это странное явление…

— Для меня оно очень ясно.

— Так скажите.

— Что пользы? Ты все-таки ничего не поймешь и скажешь опять, что я насмехаюсь над тобою, что этого нельзя доказать и прочее, как ты обыкновенно говоришь в ответ на мои искренние объяснения — искренние! — повторил он с насмешливым видом.

— Нет, говорите, дядюшка, говорите, что вы знаете и как вы понимаете. В таком странном явлении все допустить можно.

— Все? — спросил дядя, посмотрев на меня пристально.

— То есть… я хотел сказать, что всем должно пользоваться для объяснения…

Дядя улыбнулся. Я замолчал.

Мы пробыли до утра в очарованной зале и, как говорил дядя, действительно ничего более не слыхали.

Вот что называл дядя объяснением этого странного явления. Я постараюсь, сколько дозволит память, повторить здесь его рассказ во всей его полноте.

— Чтоб объяснить тебе это явление, — говорил дядя, — я должен начать издалека. Оно по вре-

мени относится к третьему десятилетию XVIII века. Моего рассказа ты не найдешь в истории, потому что в вашей истории записываются лишь внешние происшествия, лишь обманчивые образы настоящих внутренних происшествий. Сверх ваших филологов, археологов, антиквариев и проч. т. п. существуют на сем свете другие историки; они ведут летопись тем явлениям, которые обыкновенно остаются у других незамеченными или истолкованными превратно. Я имел случай в моей жизни быть в сношении с этими неизвестными бытописателями, и то, что тебе буду рассказывать, почерпнуто мною из их таинственных преданий. Верь мне или не верь, как хочешь. Если мой рассказ покажется тебе не довольно ясным, потрудись объяснить сам. Что до меня касается, мне других объяснений не нужно.

Около 1726 года в отдаленной комнате невдалеке от Сухаревой башни, около полуночи, два человека — один старик, другой средних лет — суетились возле печи странного вида. Молодой человек сидел против самого очага и поправлял щипцами горящие уголья; осмотрев тщательно устье, он принимался читать огромную книгу, лежавшую перед ним на налое. Старик в широком бархатном кафтане после осмотра садился в

кресла и слушал чтение с большим вниманием: молодой человек читал протяжно… «Получив камень посредством хорошего управления огня белым, что уже выше показано было, если захочешь видеть его красным, то умножай жар печи, ибо наша Саламандра живет лишь в сильном огне и среди огня, и питается огнем, и не боится огня; от легкого жара не отделится от камня тинктура и сера. На работу сию потребно 41 сутки».

— А который день у нас сегодня? — спросил старик.

— 32-й с начала фиксации, — отвечал молодой человек.

— А все еще не видать красного дракона, да не видать даже и ржавчины, о которой говорит Василий Валентин. Верно, мы как-нибудь ошиблись в операции.

— Подождем 41-го дня, тогда увидим.

— Хорошо тебе ждать, молодому человеку, а каково мне — старику? Вот уже четвертый раз начинаем все ту же операцию: кажется, близко, кажется, ничто не забыто, а нет успеха! А между тем силы слабеют; сколько ночей без сна… Если б не ты, Иван Иванович, то не достало бы у меня сил на это великое дело. Ах, если бы нам только дойти до красного дракона! Уж из него можно было бы

получить питейное золото, которое доставляет человеку жизнь почти бесконечную и совершенное здравие. Пока добьюсь жизненного эликсира, боюсь совсем здоровье потерять. Вот и теперь уже дремота меня клонит; если, неравно, засну, то ты уж, пожалуй, не засни, любезный; сослужи службу, ведь я тебе великую тайну открываю — пожалуйста, не засни; теперь каждая минута дорога; не жалей уголья, не отходи от атанара[68]: если минуту огонь ослабнет — все погибло, опять надобно будет начинать сызнова. Пожалуйста, не засни; ах, дремота клонит, береги…

Саламандру… потому что… драконовая кровь… атанар… квинтэс… сенция… эликсир…

Мало-помалу слова старика мешались; он дремал, дремал и наконец заснул совершенно, повторяя во сне заветные слова алхимистов.

Молодой человек все прилежно смотрел за очагом, не сводил с него глаз и поправлял горящие уголья.

Грустные мысли носились в голове сидевшего пред очагом.

— Так вот, — думал он, — чем кончились все мои надежды; вот зачем судьба вырвала меня

---

[68] Примечания: 68
Алхимическая печь. (*Примеч. В. Ф. Одоевского.*)

из моей бедной финской лачужки. Много прекрасного блестело предо мною; я видел *Великого,* я беседовал с ним, я думал его мыслями, чувствовал его чувствами — и не стало Великого, и схоронились с ним все мои надежды. Нет подпоры у бедного пришельца. Оклеветали меня, изгнали… Что-то делается теперь в моей прекрасной комнатке в адмиралтействе? Трудится ли там кто с таким рвением, с каким я трудился? А мои переводы по цифирной науке, а мой план типографии?.. Все осталось втуне! Разве на добычу червям. И что же? Будущий воевода, боярин — теперь помощник, почти раб брюзгливого, полусумасшедшего старика, провожу бессонные ночи пред горящим угольем, над работою едва ли сбыточною и едва ли не преступною!.. А тут еще жена со своими требованиями, упреками; говорит, что я не могу содержать ее, вспоминает о прежнем своем житье, о прежнем довольстве. Что же мне делать? Я ли виноват, что меня лишили места, что другим оно понадобилось? Я ли виноват, что меня, бедного финна, все отталкивают от себя с презрением? Грустно, грустно!.. Ах, мои золотые надежды, где вы? Где вы? Был бы жив Великий, не то было бы… А теперь неужели все кончено? Неужели мне не жить в барских хо-

ромах? Неужели не видать больше поклонников? Неужели умереть не воеводою? Ах, зачем, зачем я оставил мою лачужку? Зачем судьба привела меня видеть чужие страны? Зачем получил я свет наук и образовал ум свой? Тогда бы сердце не томилось; не знал бы, не мучился бы я неутолимою жаждою; спокойно бы провел мою жизнь при шуме родных порогов, в бедной лачуге… А Эльса, Эльса! Сестрица! Где ты, что с тобою? Где твои светло-русые кудри, где твои томные очи? Где твоя белая грудь? Ты бы любила меня, ты бы не роптала на судьбу, что принуждена жить с бедным чухонцем; на твоей простодушной груди я засыпал бы спокойно, прислушиваясь к родимым песням…

Молодой человек закрыл лицо руками; слезы брызнули из глаз его…

— Таинственный очаг! — продолжал он. — Что ты устремил на меня свое огненное устье, что скрывается в тебе? Зола-уголь… но кто знает… быть может… еще несколько дней, и польется из тебя злато, и бедный финн гордо взглянет в лицо людям. О, тогда не тебя озолочу я, злая жена, не тебя — на твоем языке лишь змеи шипят! — нет, тогда брошу тебя, покину… Богатому все позволено; полечу к родным берегам, обойму свою Эльсу

и с нею вместе засмеюся над целым миром. Ах, Эльса, Эльса! Где ты?

В эту минуту кто-то постучался у двери; молодой человек взглянул:

— Так! Это жена моя, змея подколодная. Что тебе надобно? — сказал Якко (так называли молодого человека). В комнату вошла женщина лет тридцати, бледная, с лицом, искаженным от гнева; платье ее было в беспорядке.

— Что? — сказала она сердитым голосом. — Старый заснул? Залей огонь — меньше угольев выйдет.

— Как можно! — отвечал Якко.

— Так же можно, как ты прежде делал; что вы тут варите, бесам на потешенье! Мне вот так от добрых людей прохода нету. День и ночь огонь у вас тлится; ведь прохожие дым-то видят — и дым-то у вас не православный: серой да жупелом пахнет по всей улице. Все говорят, что ты яды варишь или чертей вызываешь.

— Пусть болтают себе что хотят, на этот раз не хочу больше обманывать старика, не переведу огня, пока дело не кончу.

— Да, слушай тебя! Не бойсь, старик-то себе на уме: не хочет у себя на дому чертям кашу варить, а к тебе приходит; ему ничего, а тебя в срубе

сожгут, да и меня с тобою вместе. Ах, я бедная, горемычная сирота! Нет у меня ни отца, ни матери, ни роду, ни племени, некому за меня заступиться — попустил же Бог выйти замуж за проклятого чухну, за колдуна, за еретика…

— Вон отсюда! — закричал рассерженный муж. — Или худо тебе будет. Старик проснется, увидит тебя здесь, беда да и только. Поди вон, говорю тебе.

— И ходить-то мне не в чем по вашей милости, государь мой, Иван Иванович! Дайте денег на башмаки.

— А где я возьму? От старика не добьешься; а как он проснется да тебя увидит здесь, так и последнего куска хлеба не будет… Смотри, он никак потягивается — убирайся вон, говорят тебе!

Женщина взглянула на Якко с невыразимою злобою и ушла, бормоча про себя: «Чухна, колдун, еретик, нищий…»

— И вот та женщина, — подумал Якко, — которая мне казалась ангелом доброты! Куда девалась девическая кротость, женский стыд? Та ли это Mania, которая, бывало, в своем голландском чепчике, затянутая в кофту, милая, добродушная, боялась вымолвить лишнее слово? Теперь все переменилось! Пока мы жили в довольстве, она

казалась ангелом; но этот ангел не перенес самого обыкновенного бедствия — нищеты! Ах, Эльса, Эльса! Ты бы не переменилась! Где ты? Неужели никогда не суждено мне видеть тебя?..

Между тем стал показываться свет; багряное северное солнце начало проглядывать сквозь туманы и тихо, как тать, пробираться по кровлям. Старик проснулся.

— Как! Уже утро? — сказал он, протирая глаза. — Что наше дело? Не ослаб ли огонь? — Он встал, подошел к атанару, осмотрел его со всех сторон и, казалось, был доволен.

— И ты не заснул ни на минуту?

— Ни на минуту, — отвечал Якко.

— Спасибо тебе, мой сын. Потрудись, потрудись; помоги старику, уверяю тебя, внакладе не будешь… Важную тайну вверяю я тебе, молодой человек. Знай, все мудрецы мира от начала веков искали, в чем состоит наше дивное дело… дивное, говорю тебе. Оно всемогуще; оно спасает тела от гниения, оно, повторяю тебе, может бесконечно продлить существование человека… Одного не знали они: с чего начать — а я, я знаю. Так как вышние небеса образуются вокруг земли не сами собою, но влиянием солнца и других планет, так и наша квинтэссенция ждет оживления солнца,

блестящего, всесильного, ровного, и против этого солнца не могут ничего все огни земные. Говорю тебе от избытка сердца, что это солнце, непобеждаемое огнем, этот корень нашей жизни, это семя металлов, созданное для украшения нашего неба, было в этой руке!

Якко слушал старика и не знал, верить ему или не верить: старик говорил с такою силою, с таким искренним убеждением… Правда, уже три раза принимались они за свое чудное дело и три раза находили одну золу. Но Якко знал, что не один ученый муж в Голландии, Франции, Германии верил в алхимию и трудился над философским камнем. Многие смеялись над сими усилиями, но никто еще не осмеливался явно доказывать невозможность философского камня.

В Париже Якко видел живое свидетельство этой истины: он видел здание, воздвигнутое на золото, сотворенное Николаем Фламмелем; он видел те чудные символы, которые Николай Фламмель оставил на построенных им зданиях в память своего дела и на разгадку мудрецам всех веков; он видел своими глазами в Вене железный гвоздь, которого половина была обращена в золото знаменитым алхимиком в славу таинственной науки; да и самый тот, который теперь

работал с ним, принадлежал к числу ученейших мужей того времени; воин, сановник, почтенный высоким званием, как было не верить ему?.. А между тем старик казался ему подозрительным; иногда можно было сомневаться, сохранился ли в нем здравый рассудок; иногда он плакал, иногда смеялся как ребенок, прыгал по полу, хватался за волосы или начинал малопонятную, исполненную противоречий, но величавую речь — и тогда глаза его горели, он был в исступлении, трепетал всем телом. Не доверяя ни старику, ни своим сомнениям, Якко старался в книгах найти объяснения загадке. Парацельс, Арнольс де Вилланова, Гебер, Василий Валентин не выходили из рук алхимика; обольстительны были их речи; казалось, они открывали свою душу; все единогласно сулили богатство, счастье, здравие и жизнь долгую тому, кто с терпением дойдет до конца поприща. Якко находил в их описаниях все подробности чудного дела; ничто не было забыто; казалось, стоило только приняться; сами они говорили, что это дело может сделать женщина, не оставляя веретена своего; одного не открывали они: вещества, из которого должно было произрасти древо жизни, — и пред Якко был человек, хвалившийся, что знает это таинственное вещество,

которого имя никогда не было вверено бумаге. Это вещество было пред ним, сокрытое в грубой глиняной колбе… Якко терялся в размышлениях.

Последние дни алхимики не отходили ни минуты от очага. Когда засыпал Якко на два или три часа, не более, тогда за атанаром надсматривал старик.

Наконец наступил роковой, сорок первый день; алхимики не спали во всю ночь и ровно в уреченный час, в минуту, загасили огонь. О, как бились сердца их, когда наступило решительное мгновение! Рука Якко дрожала, когда он бережно стал отделять смазку, соединявшую все части таинственного снаряда; еще минута — и заблещет пред ними чудный пурпуровый камень, семя металлов, эликсир от всех болезней, дивная тинктура, возводящая грубый свинец в достоинство золота…

И вот снята крышка таинственного сосуда — что же?.. На дне его лежала черная, безобразная, спекшаяся масса, и только.

— Черный ворон поглотил нашего красного дракона! — воскликнул старик. — Мы в чем-нибудь ошиблись… Надобно начать сызнова. Отдохни несколько дней — дня три, не более; а там опять изготовь атанар; я между тем пройду

в уме все производство; постараюсь заметить, в чем мы могли ошибиться. Прощай. Не приходи ко мне. Не надобно, чтоб профаны знали о нашей связи. Не оставляй книг, прочти еще раз Парацельса: память моя слаба; я могу иное и упустить из вида.

С сими словами старик вынул из кармана серебряный рубль, положил на стол пред бедным Якко и удалился.

Бледный, изнеможденный, измученный бессонницей, Якко вышел из лаборатории в соседнюю комнату и с отчаянием бросился в постель. Сон его был слабый, беспокойный; но мало-помалу видения делались увлекательнее: он видел берег Вуоксы, слышал шум иматрских порогов; Эльса была перед ним во всей своей красоте; она склоняла голову на грудь Якко, целовала его; ее кудри обсыпали его лицо; вокруг них лежали золотые слитки, драгоценные камни; светлое солнце сияло над ними и отражалось в их радужных переливах.

Грубый голос вывел Якко из его сладкого забвения.

— Перестанешь ли спать, ленивец? — говорила Марья Егоровна. — Только бы спать тебе. Ну, где же золото? Подавай его. Много ли вы его

наварили?

Якко едва мог прийти в себя; однако ж он опустил руку в карман, вынул оттуда серебряный рубль и бросил его с презрением на пол…

— Только-то? — сказала жена, поднимая монету. — Покорно благодарствуем, батюшка Иван Иванович! И это все на спитки, на съедки?.. Не много ли будет? Смотри-ка, с квартиры хотят сгонять; хлебник говорит, что уж больше в долг хлеба не даст, и мясник тоже, и лавочник… Ах, я бедная, горемычная!.. Последнее платьишко осталось!.. Не в чем в Божию церковь сходить, Богу помолиться, чтоб не наказал меня за грехи твои, колдун проклятый!.. Ах, матушка, матушка родимая! Думала ли, гадала ты, что дойду я до такой участи?..

— Что ж делать мне? — спросил Якко с отчаянием.

— Делай, что знаешь, ты на то муж… мое бабье дело.

— Богом клянусь тебе, Марья Егоровна, — отвечал Якко слабым голосом, — что рад бы кровь тебе свою отдать, чтоб только ты меня не попрекала.

— Полно Бога-то призывать, еретик! Меня не проведешь; слыхали мы эти россказни.

— Да что ж делать мне? — отвечал Якко, начи-

ная сердиться.

— А то было делать, что остаться в Петербурге. Было славное место, жалованье, все мой отец тебе доставил…

— Но ведь ты знаешь, что меня выгнали?

— Выгнали? Отчего?.. Оттого, что спина у тебя больно твердая. Пошел бы, покланялся… Так нет, как можно!.. Вишь, горд некстати. А теперь и свисти в кулаки… Ну, давай денег! Ты по закону должен меня содержать.

Якко вскочил с постели.

— Замолчи! — вскричал он.

— Нет, не замолчу, а пойду донесу, что ты колдуешь, яды варишь. Как приведут в застенок да начнут лопатки выворачивать, так другим голосом заговоришь, еретик проклятый! Нищий!..

Мы не будем описывать сцены, которая последовала за этим разговором. Она в нашем веке показалась бы слишком странною…

Прошло три дня. Якко не успел и отдохнуть. Жена не давала ему ни минуты покоя, и он мог укрощать ее лишь средствами совсем нефилософскими. Все это мучило, унижало его душу. Часто он готов был наложить на себя руки; еще чаще хотел бежать из Москвы и пробраться на родимую сторону. Но его еще все манила надеж-

да; казалось, она даже усиливалась с неудачами. «Еще сорок дней, — сказал он наконец самому себе, — и одно из двух: или я обладатель сокровища, или меня не станет».

На четвертый день кто-то постучался в двери; то был старик.

— Нашел! — сказал он. — И как можно было забыть это!.. Надобно было начать в четверг, в день, посвященный Юпитеру; а мы начали в понедельник, в день луны! Очень понятно, что ее холодная влажность проникла в наш атанар и помешала созреть дракону. Сегодня четверг, и ровно в полдень мы приступим к нашему делу. Все ли готово?

— Все, — отвечал Якко грустно, — но прежде, нежели мы приступим к работе, позвольте попросить, ваше сиятельство… в доме у меня нет ни копейки… рублем, вами данным, я заплатил необходимые долги… — слезы стыда и уничижения катились по щекам Якко.

— Так! Я этого ожидал! — вскричал старик гневно. — Денег! Все денег! Настоящий сын адамов! Я не знаю, право, зачем я тебя посвятил в наше дело. Ты работаешь только из корысти. В тебе нет душевного чувства к великому делу оттого, что душа твоя нечиста; ты не понимаешь стремления

моей души, ты не понимаешь всей важности нашего таинства. Ты думаешь, это такое ремесло, как всякое другое; я тебя научаю величайшему чуду в мире, единственному, о котором человек должен заботиться, — а ты пристаешь ко мне с мирскими помыслами, с деньгами… Презренный!.. Ступай, ищи денег, где хочешь.

— Уверяю вас, сиятельнейший граф, что если б не крайняя нужда, — отвечал оскорбленный Якко, — то… то я бы давно вас оставил. Ищите другого помощника, такого же прилежного, как я.

Рассерженный старик ходил по комнате; скупость терзала его, но, с другой стороны, он рассчитывал все выгоды, которые доставлял ему Якко. Старик очень понимал, как трудно ему было бы найти другое укромное место в Москве для его таинственных опытов. Трудно было скрыть действия боярина знатного, богатого; но он надеялся, что никто не обращает внимания на бедную лачужку. Он вынул из кармана серебряный рубль, посмотрел на него с сожалением и, отдавая его Якко, примолвил с притворною улыбкою: «Ну, не сердись; вот тебе деньги; немного осталось поработать, и тогда ты на них будешь смотреть с таким же презрением, как я. Ну, теперь к делу». Ровно в полдень старик вынул из кармана

золотую коробочку, открыл ее с таинственным видом, высыпал ее в атанар и поспешно захлопнул крышку, чтоб Якко не мог заметить, что содержалось в сосуде. Колба была замазана; под нею огонь разведен, и опять начались для Якко длинные ночи без сна, опять томительное, то робкое, то смелое ожидание, опять обольстительные страницы, опять однообразная, мучительная действительность. Протекли двадцать дней; снова ни старик, ни Якко не замечали тех алхимических признаков, которые предвещают успешное окончание дела. Однажды ночью старик заснул; Якко остался один пред очагом; грустно, невыразимо грустно было ему в этот день; опять он принужден был просить у старика денег, опять старик отвечал ему с обычным жестокосердием, опять жена мучила его своими упреками. Якко, устремив глаза в огонь, старался воспоминаниями прошедшего усладить горькое настоящее. Нежданно пришли ему на мысль слова, когда-то сказанные ему Эльсою. «Ты наш, — говорила ему Эльса, — и должен быть нашим». Что значили эти слова, произнесенные этою странною женщиною в минуту волшебных видений?..

— Эльса, Эльса! — сказал Якко. — Где ты? Неужели угасла твоя таинственная сила?.. Неужели

ты не чуешь, что твой Якко страдает, что твой Якко зовет тебя? О, если б ты была со мною, ты, может быть, научила бы меня, что делать!

Мысли Якко делались от часу мрачнее и мрачнее.

— Что, — говорил он в глубине души своей, — что все эти сказки о добродетели, о наказаниях в будущем мире? Неужели человек осужден страдать на земле?.. Неужели ему не дозволены все способы, чтоб избавиться от страданий?.. Все, — повторил он, невольно содрогнувшись, — да, все, — сказал он с ожесточением, — о, чем бы я не пожертвовал в эту минуту, чтоб достигнуть моей цели!.. Вот еще способ, которого я не встречал в книгах; может быть, его-то и скрывают мудрые от толпы бессмысленной; может быть, здесь нужна жертва над таинственным сосудом; может быть, нужна жизнь человека… Почему не так?.. Зачем не испытать?..

И глаза Якко, пламенные, неподвижные, устремились на спящего старика.

Чувство, зародившееся в эту минуту, испугало его самого; он вскочил со скамейки, но едва повернулся в противную сторону, как смотрит… на освещенном от очага круге явственно нарисовалась какая-то тень неопределенного вида. Якко

вздрогнул, холод пробежал по его жилам, он бросился к очагу и, напрягая все силы внутренние, произнес: «Эльса, Эльса! Ты ли это?»

И в средине пламени ему показался неясный образ… ближе, ближе… он не может сомневаться… это лицо Эльсы, она улыбается… она манит его… она говорит ему: «Да, Якко, это я, твоя Эльса; я услышала тебя; давно бы тебе обо *мне* вспомнить… ведь ты трудишься понапрасну. Неразумные люди! Вы хотите открыть величайшее таинство, не призвав Саламандру! Ведь огонь ваш мертв без нее. Ему ли оживить дракона? И для нас это дело трудное; и мы со страхом к нему приступаем. Но для тебя я на все готова. Засни, засни, милый Якко; подкрепи свои силы; я буду вместо тебя смотреть за работою».

— Эльса, Эльса! — вскричал Якко, простирая к ней руки.

— Нет, Якко, теперь ты не можешь обнять меня; днем я предстану тебе в земном моем виде, и ты не оставишь меня, Якко, не правда ли?.. Ты будешь мне верен?

Якко вздрогнул:

— А жена?

— Жена? — отвечала Эльса насмешливым голосом. — Жена не помешает…

— Как не помешает?.. — вскричал Якко.

— Не бойся; я тебя не на грех навожу, неразумный; довольно только пожелать, Якко… Или ты и до сих пор не постигнул, что значит воля человека: тебе стоит только любить меня; против нашего таинственного пламени ничто смертное противостоять не может; но одно условие: будь моим, будь моим, Якко, клянись…

— Клянусь, — проговорил мрачно Якко…

Он смотрит: Эльса превратилась в струю белого пламени, но в этой струе он все узнает свою Эльсу; он видит, как она обвивается вокруг таинственного сосуда и сыплет на него золотистым дождем. Не диво ли? Сосуд сделался прозрачным; внутри его огненный лев борется с огненным драконом, и вот лев уже при последнем издыхании… дракон поглощает его… мгновенно на нем является блестящая корона, и сосуд наполняется рубиновым светом… дракон машет огненными крыльями, и от каждого взмаха радужные лучи волнуются в сосуде.

Далее Якко ничего не видал, ибо, казалось ему, он заснул крепким сном. Стук в дверь разбудил его. Было уже утро. Старик еще спал. Молодой человек подумал, что это жена, и не хотел отворять; но стук повторился. Якко услышал, что

кто-то на финском языке проговорил: «Отвори, отвори, милый Якко». Якко вздрогнул, отпер дверь — перед ним была Эльса в обыкновенной грубой финской одежде; волосы подобраны под безобразную шапочку. Она бросилась к Якко на шею. Якко был вне себя.

— Ты, я чай, забыл меня, Якко, — говорила она, — а я так вспомнила. Как скоро я проведала, что тебя выгнали, разорили, что ты беден, я все оставила и добралась до тебя. Уж чего мне это стоило! Кабы не Юссо…

— Муж твой? — спросил Якко.

— Нет, Якко, я не вышла замуж. Юссо очень хотел на мне жениться, но я все говорила ему: погоди, вот братец приедет. Он ждал, ждал, бедный, да и ждать перестал; а все меня еще любит; как он узнал, что я горюю по тебе, тотчас сказал: «Дай, свезу тебя, Эльса; авось-либо брату поможешь»; а Юссо такой малый смышленый, торгует в Питере, да и здешних-то знает; уж мы тебя здесь искали, искали… Да еще хорошо, добрый человек случился, вот тот, который к тебе уголья возит; ведь ты, говорят, кузнец или слесарь… Он и привел меня сюда, прямо к дверям — такой добрый…

— Эльса, Эльса!.. — говорил Якко. — Так ты в

самом деле можешь помочь мне?.. Ты знаешь наше дело?..

— Нет, я кузнечного дела не знаю, а помочь тебе помогу; посмотри-ка, сколько я без тебя накопила.

И с сими словами она вытащила из-за пазухи холстину, из которой посыпались серебряные и золотые деньги. Было тут рублей сто и более.

— Эльса! — говорил Якко. — Но в эту ночь, здесь, в очаге…

— Что такое? — спросила Эльса.

— Помнишь, что ты мне говорила?..

— Когда? — спрашивала Эльса с удивлением.

В эту минуту Марья Егоровна возвращалась с рынка.

— Это что такое? — вскричала она. — Еще колдунью привел сюда?..

Но едва она увидела деньги, как лицо ее повеселело; она бросилась к Эльсе на шею:

— Ах, душечка, Елисавета Ивановна!.. Я тебя и не узнала… А ты совсем не переменилась: такая же красавица, как и была; как это ты нас спознала?.. А мы об тебе горевали, горевали… Уж пожалуй, не откажи, погости у нас… Да что ж это ты деньги-то рассыпала?.. Дай приберу.

— Добрая сестрица, — сказал Якко жене, — от-

дает нам эти деньги; они наши.

Марья Егоровна снова бросилась обнимать Эльсу, припрятала деньги в карман и побежала на кухню, приговаривая шепотом: «Теперь-то я погуляю!»

Со времени чудного явления Якко еще прилежнее стал заниматься своею работою. Часто в извивистых потоках пламени, окружавших сосуд, он узнавал Эльсу; он понимал очень ясно, что это была она, а никто другой, ибо часто для него лицо ее мелькало среди пыла; он говорил ей, и она ему отвечала; часто сосуд делался на мгновение прозрачным, и внутри его происходили странные видения. Якко видел в нем то вырытую могилу, в могиле безобразный остов, сквозь череп и кости остова проходила огненная струя, и глазные впадины, челюсти и ребра светились, и мертвец с болезненным стоном подымался из могилы; то видел он поле, усеянное мертвыми костями, и огненные птицы слетались клевать их; то появлялись в сосуде два льва, которые пожирали друг друга; то видел он Эльсу в образе Саламандры, с короной на голове. Саламандра сладострастно плескалась в огненном море, и две пламенные струи обильно истекали из ее девственных персей.

Всматриваясь в эти чудные явления, Якко вспомнил, что видал нечто подобное в книгах Василия Валентина и других герметических философов, но тогда он почитал сии изображения простыми символами, под которыми мудрые скрывали свои таинства, а теперь все было понятно и ясно нашему алхимику.

— Скажи мне, — говорил Якко, устремляя глаза в раскаленное устье, — скажи мне, Эльса, каким чудом я тебя вижу *здесь* совсем иною, нежели *там.* Там ты даже не понимаешь своего здешнего существования.

— Милый Якко, — отвечала Эльса, простирая к нему из устья свои огненные руки, с которых дождем сыпались светлые искры, — милый Якко, ты слишком любопытен. Могу ли я здесь обнять тебя? От моего прикосновения истлеет твоя смертная оболочка. Я могу приблизиться к тебе лишь в виде остывшего пепла; будь доволен и тем до времени. Оставь свое любопытство, продолжай помогать мне в нашем деле, которого ни мы одни, ни люди без нас произвести не в состоянии. Трудное дело, Якко, очень трудное, которого не все таинства и нам доступны. Только из любви к людям мы приступаем к ним; знаешь ли, мы всем существом своим должны проникнуть в

корень металлов; из собственных наших грудей мы должны точить живительную влагу, которая одна может пробудить его мертвую силу. Нелегко нам это, Якко: для этого мы должны бороться со всеми стихийскими духами, которые в образе зверей и разных животных ведут с нами войну жестокую; они не хотят, они страшатся пробуждения властелина над всеми стихиями. Но рано или поздно мы должны победить их.

— Скоро ли? Скоро ли? — восклицал нетерпеливый Якко.

— Не знаю; много ошибок вами сделано. Но скажу тебе в утешенье: на этот раз ты с моею помощью добудешь одну из низших степеней таинственного камня. Вам, людям, и она пригодится.

Старик по-прежнему каждый день приходил к Якко и усердно хлопотал вокруг печки. «Теперь, — говорил он, — я уверен, что мы достигнем своей цели. Кажется, мы ничего не забыли, и огонь идет ровно. Еще несколько ночей, и наш феникс расправит свои крылья».

— Сиятельнейший граф, — сказал Якко с значительною улыбкою, — думаете ли вы, что наше дело может увенчаться успехом, если посредством таинственных заклинаний мы не призовем

Саламандры?

— Все ты не то говоришь, любезный, — отвечал старик, — читаешь книги, да не понимаешь. Ну что такое Саламандра? Это есть только символическое слово, под которым наши мудрые понимают иногда действие огня в нашем деле, а иногда и самый камень, потому что он горит в огне не сгорая. Учись, учись, любезный…

Якко еще раз улыбнулся и замолчал.

Между тем со времени появления Эльсы все в доме Якко пошло не по-прежнему.

Она совсем завладела хозяйством; появились в доме чистота, опрятность, порядок; Эльса завела корову, другую и третью, и мало-помалу из боярских домов стали сходиться люди, покупать молоко и масло, которое, в отличие от обыкновенного, прозвали «чухонским». Домоводство снова появилось в доме бедного Якко. Марья Егоровна не могла нарадоваться, видя у себя по-прежнему медные, серебряные, а иногда и золотые деньги; появились у ней и щеголеватые платья, и голландские чепчики, и ситцевые кофты, и черевики с красными каблуками. Все бы это хорошо; но вот что было дурно: во время нищеты Марья Егоровна покусилась выпить чарочку; выпила — и на душе у ней повеселело; в другой раз она

попробовала — то же; ей понравилось; мало-помалу она обзавелась небольшим штофиком, который, однако ж, прятала от мужа в поставце. Мало-помалу она чаще и чаще начала прибегать к утешительному напитку; привычка сделалась страстью, и мы должны признаться, что большая часть ее упреков мужу происходила оттого, что у Марьи Егоровны недоставало денег для наполнения своего заветного штофика. Теперь Марья Егоровна блаженствовала. С утра уже она была навеселе, и пока Эльса хлопотала по хозяйству, Марья Егоровна сидела за столом, подперши бока руками, покачивая головой и напевая:

Чарочки по столику похаживают!

В таком положении ее часто заставала Эльса и, вероятно, не понимая, что тут происходит, смотрела на Марью Егоровну такими странными глазами, что Марье Егоровне делалось и страшно, и грустно — и она снова прибегала к своему утешителю. После обеда Марья Егоровна уже спала непробудным сном, а иногда даже совсем не обедала; ночью, проснувшись, она снова потихоньку пробиралась к поставцу… и опять засыпала. На другой день начиналось то же.

Якко не обращал внимания на поведение жены своей; весь погруженный в свое таинственное

предприятие, Якко забывал все житейское. Каждый день у очага, он редко приходил к своим, да и когда приходил, занимался только одною Эльсою, радуясь, что жена оставляет его в покое, и нетерпеливо ожидал рокового сорок первого дня.

Наконец он наступил… Поднята таинственная крыша; на дне сосуда — сплавок синего цвета… И старик, и Якко затрепетали.

— Это что-то чудное, — сказал старик, — наш камень должен быть пурпурового цвета… это не он… но уж не семя ли яхонта?.. Испытаем…

С сими словами старик растопил свинцу, отломил от полученного сплавка несколько крошек, бросил на свинец… крошки разлетелись, и свинец остался по-прежнему свинцом. Целый день протрудились наши алхимики. Уж чего они ни делали с полученным сплавком! Соединяли его с медью, и с железом, и со всеми металлами — все тщетно: масса трескалась, рассыпалась, но ничто не обратилось ни в серебро, ни в золото.

— Это просто стекло, — сказал наконец старик с досадою. — Мы в чем-нибудь ошиблись. Надобно начать сызнова. Отдохни дня три, а потом снова изготовь атанар.

Между тем Якко явственно слышал, что Эльса громко хохотала посреди угольев.

— Не слушай бессмысленного старика, — говорила она, — возьми этот камень; он не золото, но стоит золота — не сказывай об этом старику; распусти этот камень в воде, и ты увидишь, что будет. Бессмысленный! Он думает, что понимает писание мудрых; он прочел, что нужна сорокадневная работа над фениксом, но прочел только мертвую букву; он не понимает, что в сих словах сокрыто кабалистическое число, что круг здесь изображает землю, а число — четыре времени года: срок, необходимый для полной зрелости дивного камня.

— Что ж ты задумался? — сказал старик.

— Разве вы не слышите? — отвечал Якко.

— Да что слышать? Только уголья трещат в очаге.

Якко понял, что слова Саламандры были ему только слышны, и замолчал.

— Ну, что ж ты хотел сказать? — повторил старик.

— Я думаю, что не слишком ли рано мы открыли атанар? Число сорок не означает ли четырех времен года?..

— Мысль недурная, — заметил старик. — О! Я вижу, в тебе путь будет! Испытаем. Так изготовь же два атанара, один мы будем открывать каж-

дые сорок дней, а другой откроем по прошествии целого года…

С сими словами старик по-прежнему положил на стол серебряный рубль и удалился, бормоча про себя: «Четыре времени года… сорок… четыре… Как мне на мысль не вспало!.. Странно!..»

По уходе старика Якко немедленно раскалил снова полученный им камень и бросил его в воду; после нескольких подобных операций в сосуде осталась жидкость прекрасного синего цвета. Якко опустил в нее кусок сукна — сукно окрасилось. Познания Якко в химии скоро объяснили ему, какую выгоду можно получить из сего открытия; он разложил вещество по правилам науки, нашел состав его, снова повторил опыт в большем виде, и скоро в домике Якко появились чаны, кубы; он объявил гостям суконной сотни, что берется красить сукно не хуже заморского, — и в городе дивовались, толкуя про *кубовую* краску. И эти новые хлопоты достались доброй Эльсе: целый день она суетилась, нанимала работников, вела счеты, заглядывала в чаны, собирала краску, продавала ее, красила, развешивала. Якко служил иногда переводчиком и только получал деньги. Но мог ли такой успех удовлетворить гордым ожиданиям алхимика? Торговать краскою тому,

кто собирался захватить в руку корень всех сокровищ мира!.. И снова запылал атанар, и снова старик явился с своею таинственною коробкою. Но в то время, когда он собирался всыпать ее в сосуды, Якко опять услышал хохот Саламандры: «Твой старик многое знает — с ним и нам не худо посоветоваться, но не знает безделицы: все его составы ни к чему не поведут, если он не добудет масла из кремня».

— Масла из кремня? — спросил Якко.

— Да; ты знаешь, что внутри кремня кроется дивная, могучая жидкость…

— Но я знаю и то, что эта жидкость истребляет все тела земные; нет сосуда, который бы мог содержать ее: одна капля ее на теле человека — и человек истлевает в ужаснейших мучениях…

— Якко, Якко! Зародыш жизни — смерть… — проговорила Саламандра сильным голосом и исчезла.

Когда Якко заговорил со стариком о кремнистом масле, старик затрепетал. «Знаю, — отвечал он, — слыхал я об этой страшной влажности, встречал и в книгах указания на нее, но до сих пор думал, что алхимики упоминали о ней для того только, чтоб испугать профанов или чтоб наказать их, когда они нечистыми невежествен-

ными руками примутся за наше великое дело».

Работа продолжалась по-прежнему, и по-прежнему без успеха. Каждую ночь на старика находил неодолимый сон. Якко смотрел за атанаром, и, когда силы его ослабевали, Саламандра являлась среди огня, утешала своего любимца, ласкала его, простирала к нему свои огненные персты и золотистою струею обвивалась вкруг атанара.

Однажды вечером старик уже дремал, Якко в раздумье сидел пред огнем; грустно было на душе алхимика; не тешили его мелочные домашние выгоды; переставала утешать и надежда. Сумрачно смотрел он вокруг себя, и невольно взор его вперился в старика, который дремал, облокотившись на креслах.

— Зачем он не я? — невольно приходило в голову Якко. — Зачем я не он? — прибавлял он, теряясь в своих мыслях. — Он знатен, он богат, он приходит ко мне, пользуется гостеприимством бедняка для дела опасного, и он же презирает меня… Зачем он не я?.. Я — он? Он — я?..

Мысли его делались мрачнее и мрачнее, иногда они даже пугали самого алхимика.

Кто-то сзади подкрался к молодому человеку; трепетный, горячий поцелуй заставил его содрогнуться, он обернулся — перед ним была Эльса.

— Это ты, Эльса? Как вошла ты сюда?

— Ах, как я рада, ты забыл запереть двери! Насилу-то я попала к тебе сюда; мне без тебя знаешь ли как скучно, Якко: целый день и ночь ты здесь, а я одна, совсем одна; работы столько по хозяйству, иногда так хочется поцеловать тебя, как будто жажда мучит…

И Эльса села на колени Якко, обняла его; Якко прижал ее к себе.

— Эльса, Эльса! — заговорил невольно Якко. — Если бы ты знала, как я люблю тебя! Так люблю, что страшно сказать…

— Да, любишь! А Мари, Мари…

— На Мари я не могу смотреть без отвращения, Мари зла, Мари попрекает меня, Мари опухла — больна она, что ли?

— Может быть, я не знаю, — отвечала Эльса, улыбаясь насмешливо. — А может быть, и не больна, а так, от большого веселья… Она много спит, Якко, очень много, — между тем лицо Эльсы вспыхнуло, она продолжала: — Во сне человек, знаешь, безоружен… многое… на него действует…

— И я заметил, что она слишком часто бывает не в себе…

— Да! Правда… точно не в себе…

— Но что говорить о ней! Ты одно мне утешенье, ты мне все заменяешь — и жену, и семейство… Отец твой призрел меня сироту, бедного, беспомощного; снова нищета посетила меня, — ты мне стала вместо отца; ты ведешь весь мой дом; ты обогатила меня; ты меня покоишь… ты меня любишь…

Снова Якко прижал Эльсу к своему сердцу, и Эльса обвилась вкруг молодого человека, как обвивается плющ вокруг статного дуба; она припадала к его лицу, как бы хотела спрятаться на груди его, как бы хотела впиться в нее; щеки ее все более распалялись от действия очага и от внутреннего волнения…

— Что это? — сказала Эльса, указывая на алхимический снаряд.

— Я ищу Сампо, — отвечал Якко, улыбаясь и желая, сколь возможно, приблизиться к понятиям Эльсы.

Лицо Эльсы разгоралось все сильнее и сильнее; глаза ее блистали.

— Сампо… Сампо… Да, точно, Сампо… Не другое, что понимали под этим словом мудрые суомийцы… Его одного должны искать, его одного и искали люди от начала веков; о нем одном их дивные сказания; к нему их труды и надежды…

Немногим было открыто… немногим… лишь тем, которые душою и телом соединялись с нами… и тебе, смертный, открыт этот путь… и тебе… если ты… ты… любишь меня…

Эльса снова обвилась руками вокруг молодого человека… Якко был в исступлении; бледный, трепещущий, он прижимал к себе Эльсу и охладевшими от сильного волнения устами искал распаленных уст девушки.

Но вдруг он отпрянул от нее и закрыл лицо свое руками.

— Что я делаю!.. — говорил он с отчаянием. — Эльса, Эльса, пощади меня!

Эльса вперила в него гневные очи.

— Эльса! — продолжал он. — Зачем я не могу вполне принадлежать тебе?.. Зачем эта Мари… жена?..

— Мари! Мари!.. — повторила Эльса каким-то странным голосом.

В эту минуту Якко видел, что огненные искры брызнули из глаз Эльсы; она протянула руки… огненные струи истекали из ее пальцев… пламя потянулось из устья, заклокотало вокруг Эльсы, вокруг Якко… тут все смешалось… стены комнаты застлались огненными потоками… атанар расширился в необъятное пространство… Эльса

и Якко носились и утопали в огненных волнах… львы, драконы, мертвый остов, чудовищные птицы летали вокруг них… все свивалось, развивалось, кружилось…

Когда Якко пришел в себя, все было тихо: старик дремал, спокойно тлелся очаг, Эльсы не было.

Сильный стук в двери заставил Якко вздрогнуть.

— Кто там? — спросил он, отворяя двери.

— Хозяин, хозяин! — говорил голос работника. — С хозяйкой худо…

Якко поспешно отворил дверь.

— Что с нею? — спросил он.

— Да недоброе, барин, и сказать-то страшно… Сам увидишь.

Якко вбежал в женину комнату; при входе сильный странный запах ошеломил его; он поспешно приблизился к постели; на месте Марьи Егоровны лежала безобразная, почерневшая масса. Возле постели плакала работница; в углу сидела Эльса, склонив голову, и так же горько плакала.

— Что здесь случилось? — вскричал Якко с ужасом.

— И сказать немочно, — отвечала работница, рыдая, — тому мало время минувше, прилучилася Марье Егоровне немочь, заохала и застонала

она, сердечная, — вон мы к ней, и я, и Елисавета Ивановна: что, мол, с тобою?.. Смотрим, а у ней по телу синие огоньки так и скачут, а тело чернеет, чернеет… и дым и смрад валит; мы уж ее и тем и другим, и водой на нее плескали, и рушниками тушили, ничто не помогло; не успели глазом мигнуть, как она сгорела — вот, как видишь; и за попом послать не могли…

Якко стоял в раздумьи над прахом своей жены; скорбное чувство, похожее на раскаяние, теснило его грудь; он взглянул на Эльсу и спросил:

— Ты была у меня?

— Я входила к тебе на минуту, — отвечала Эльса, рыдая, — ты мне сказал несколько слов и потом задремал, так что мне жаль было будить тебя; и я ушла от тебя на цыпочках и приперла дверь щеколдою; прихожу сюда, смотрю — с Мари худо; я послала к тебе работника, но он не мог тебя достучаться… Бедная Мари! Бедная Мари! Как она мучилась, — повторила Эльса, — хорошо еще, что недолго.

Якко бросился в кресла. «Неужели все это был только сон?» — думал он.

Скоро в околодке узнали, что у красильщика жена сгорела; приходили, толковали, дивовались. Немчин-лекарь уверял, что она сгорела

будто бы от излишнего употребления крепких напитков, но русские люди над ним смеялись.

— Слышь, ты, — говорили они, — будто оттого сгорела, что вино пила! Уж эти немцы! Нет, тут что-то недаровое.

Потолковали-потолковали и разошлися.

Похороны жены ненадолго отвлекли Якко от таинственного дела. Атанар пылал по-прежнему, по-прежнему Эльса в образе Саламандры обвивалась вокруг чудного сосуда; старик, слабевший с каждым днем, по-прежнему устремлял потухшие очи на предмет своих ожиданий и мало-помалу погружался в забытье; он уже потерял и счет дням, полагаясь в этом на Якко.

— Скоро наступит 401-й день, — говорила Саламандра, — дело совершается, наш таинственный плод зреет и укрепляется…

Сердце сильно билось в груди Якко. Итак, невозможное для других было для него возможно. Еще несколько дней — и в руках его будет таинственный талисман, дающий здравие, жизнь долгую и богатство несчетное. Но в эту минуту другая мысль невольно втеснилась в душу Якко.

— Зачем, — думал он, — зачем поделюсь я моей тайною с этим хилым стариком? Не он открыл ее, не ему ею пользоваться. Сокровище в моих руках

будет моим вполне, а разделенное — кто знает? — оно попадет в нечистые руки; слабоумный старик вверит его другому, и когда все сделаются богаты, то что будет значить мое богатство?

— Тут нет ничего мудреного, — отвечала Саламандра, подслушав его мысли, — зачем старику напоминать о роковом дне? Пусть проведет он его в забытьи и тешит свою надежду над бесплодным сосудом.

И вот в полночь 401-го дня атанар сделался снова прозрачным; пурпуровое пламя расстилалось в нем легким облаком; среди его вырастал роскошный цветок; легкий, воздушный, он носился в пространстве; кругом его теснился длинный ряд мужей в царских одеждах, с венцами на главах; они стояли в благоговейном молчании, ожидая, когда развернется шипок чудного цвета.

И вот все исчезло, крышка слетела с атанара, как будто рванулись струны на звонких арфах, по воздуху разнеслось благоухание… На дне сосуда лежал пурпуровый камень и озарял всю комнату розовым сиянием. Якко упал на колени… он смотрит: грубый глиняный сосуд мало-помалу превращается в золото. Якко приблизился, бережно поднял сосуд и бережно поставил его в скрытное место, заменив его другим, глиняным,

такой же формы.

Через несколько минут старик проснулся.

— Ну, что? — сказал он, протирая глаза. — Не ослабел ли огонь?

— Беда! — отвечал ему Якко. — Крышка слетела с атанара.

— Ах! — вскричал старик. — Злые духи нам препятствуют. Впрочем, это несчастие не с одним со мною случалось: у самого Парацельзия десять раз разрывался атанар от движения стихийных духов. Что делать! Надобно начать сызнова. Жаль, что мы не употребили кремнистого масла. Взрыв его опасен, умерщвляет человека, но зато оно же предохраняет сосуд от взрыва. Завтра займемся приготовлением этой дивной жидкости.

С сими словами старик по-прежнему опустил руку в карман и положил на стол серебряный рубль. Якко поклонился, улыбаясь.

— Якко, Якко! — говорила Саламандра. — Остерегись, не пренебрегай деньгами старика; скрывай свое богатство, пользуйся им, наслаждайся в тишине; люди узнают — замучат тебя; ты не удовлетворишь их жадности и слитками золота — они мучениями пытки не постыдятся достать из тебя заветную тайну. Всего более берегись старика: он силен и знатен между людьми, он

скоро проникнет в твою тайну; пусть он думает, что она тебе еще неизвестна.

В первые дни восхищение Якко не имело границ. Ночью, когда старик засыпал, счастливый алхимик открывал свой чудный камень; несколько крупинок его падали на расплавленный свинец — и свинец обращался в золотой слиток. Днем Якко был вне себя от радости, прыгал, целовал Эльсу, которая никак не могла объяснить себе, как она говорила, чему так радуется Якко. Домашние толковали, что они скоро повеселятся на свадьбе, и рассчитывали, скоро ли пройдут скорбные дни траура.

Между тем слитки накоплялись; Якко прятал их в подполицу, и скоро в душе алхимика место радости заступило другое чувство. С умножением сокровищ мало-помалу стала одолевать его боязнь, что кто-нибудь проникнет его тайну, похитит его богатство. Он удвоил железные запоры на дверях и окошках, учредил сторожей, сам не смыкал глаз, но ничто не могло его успокоить. Скоро для него осталась лишь одна радостная минута в течение дня: та минута, когда свинец в руках его превращался в золото, и вслед за тем он почти с ужасом смотрел на золотой слиток: куда девать его? Как скрыть его? Как им пользоваться?

И жизнь его превратилась в бесконечное терзание: он сделался стражем своего сокровища! С сожалением вспоминал он о том времени, когда, одушевленный надеждою, проводил ночи без сна пред атанаром; он не спал и теперь, но — теперь потому, что прислушивался, нет ли шума, не скребется ли вор под землею, не проснулся ли старик, не проник ли его тайны. Грустный, полубольной, бродил он в течение дня; ничто не утешало его — ни роскошный стол, ни улыбка Эльсы; тщетно спрашивала она его, о чем грустит он.

— Ты не понимаешь моей грусти? — говорил Якко Эльсе, печально отвечая на ее ласки.

— Ты, может, тоскуешь по Мари?

— О, не напоминай мне о Мари… не о ней моя грусть… Лучше скажи, научи меня, что мне сделать с тем, что ты подарила мне и чем лишь умножились мои страдания.

— Я тебе скажу, что делать, — сказала Эльса, — продай все, что у тебя есть, и уедем домой на Иматру, поселимся в нашей избушке и забудем о целом свете.

— Ты не понимаешь, Эльса! — говорил Якко с нетерпением.

Такие разговоры возобновлялись часто. Эльса оставалась Эльсою; Саламандра не являлась бо-

лее в устье бесплодного атанара.

Теперь еще прилежнее Якко сидел за атанаром. Вид старика делался час от часу подозрительнее: Якко замечал на лице его сомнение; казалось, старик уже начал догадываться, и каждое его слово было для Якко двусмысленным. Тревожный, трепещущий, он следил за каждым движением старика: вот он опустил глаза в землю — не чует ли в подполице золотых слитков; он смутно озирается — не просвечивается ли где розовое сияние дивного камня; он приближается к очагу, взглядывает на Якко — не проник ли тайны?

Чего ни выдумывал Якко, чтоб удалить от графа сомнение! Между тем от времени ли, от неудач ли, старик делался час от часу брюзгливее, взыскательнее; но счастливый алхимик потерял чувство своей горделивой бедности; он исполнял все прихоти старика, не смея ему противоречить, сносил его презрительные речи с покорностью раба; пресмыкался с полным уничижением, с полным забвением всякого человеческого достоинства. Тщетно звал он на помощь Саламандру — Саламандра не отвечала.

Однажды, выведенный из терпения, Якко едва мог удержать себя… К счастью, старик задремал. Якко как сумасшедший выбежал из лаборато-

рии и бросился к Эльсе; она испугалась, но Якко, несмотря ни на что, потащил ее с собою к очагу, посадил на стул, сжал ее плечи железными руками и грозным шепотом проговорил:

— Именем старого деда, Эльса, говори: как мне избавиться от старика?

Эльса сначала затрепетала… потом мало-помалу успокоилась, наконец отвечала прерывистым голосом:

— Избавиться… от старика… легко… стоит… только… пожелать…

— Пожелать? — вскричал Якко. — Как Мари…

— Не знаю… Да что ж тут страшного?.. Человеку… стоит… пожелать… и старика… не станет…

— Не станет? Но он знатный боярин: если он исчезнет, будут искать его, догадаются, придут ко мне.

— Зачем… старику… исчезать?.. Ты разве не можешь заступить его место… быть также… знатным… жить в богатых палатах… не бояться своих золотых слитков?..

— Что ты говоришь, Эльса? Возможно ли это?

— Нет ничего… невозможного… для воли человека… стоит только пожелать…

— Да как не желать мне этого? — вскричал Якко так громко, что старик проснулся, устремил

оцепеневшие глаза на Якко, хотел что-то выговорить…

В эту минуту алхимику показалось, что пред ним стоит не граф, но старый дед Руси, лет 30 тому умерший.

Испуганный Якко хотел броситься к нему, но раздался страшный, оглушающий треск… пламя взвилось из атанара, потекла из него огненная лава; густой багряный дым наполнил комнату, в дыме вертелись лица старика, Эльсы, Мари, старого деда…

Когда Якко пришел в себя, старика уже не было, атанар лежал в дребезгах.

Якко ощупал на себе бархатное платье, узнал тот самый кафтан, который всегда носил старый граф, в смущении подошел к небольшому круглому зеркалу, висевшему в лаборатории, и в нем вместо себя увидел изрытое морщинами лицо, седые волосы — словом, старого графа.

Поздно вечером возвратился граф в свои боярские палаты — толпа слуг встретила его на лестнице и с почтением проводила до кабинета. Оставшись один, граф нашел ключ в своем кармане, отворил потайной замок в поставце и положил в него вынутый из-за пазухи какой-то сверток, сквозь который виднелось розовое си-

яние. Потом граф подошел к столу с бумагами, прочел несколько писем, памятную записку и позвонил в колокольчик; вошел управитель.

— Отправь, батюшка, завтра подводу к красильщику Якко, да спроси там чухонку — жена его, что ли — да получи от нее ящики, которых не раскрывать и бережно принести ко мне в кабинет; а после я прикажу, что с ними делать.

В обществах старый граф замечал, что не могли надивиться его перемене, не понимали, откуда взялась у него развязность, живость, любезность, волокитство… Дамы между собою шептали, что, верно, он хлебнул своей живой воды, и уверяли, что скоро он и совсем помолодеет.

Старый граф предавался рассеянной московской жизни со всем жаром молодости. Место прежних ассамблей заступили балы, маскарады — граф не пропускал ни одного; сам держал дом открытый, сыпал золотом не считая; с утра до вечера толпился народ в графских палатах; для всех проходящих по улице был готовый прибор в столовой графа, и вино полными чашами выпивалось за здравие боярина.

Так протекли долгие годы; старик не старился, золото его не истощалось, но был ли он счастлив, того не знал никто; замечали, что часто посреди

шумного веселья мрачная грусть являлась на лице графа. До счастливца доходил невнятный говор толпы.

— Верно, бес его мучит, — говорили одни.

— Занят государственными делами, — говорили другие.

— Старый хрыч просто влюблен, — отвечал третий.

— В кого? В кого? — шептало несколько голосов между собой.

— Я знаю в кого, — проговорил один голос, — в молоденькую княжну Воротынскую; смотри, как он за нею ухаживает, глаз с нее не спускает…

— Ах он, старый! Да ей не более шестнадцати лет…

— Что нужды! Седина в бороду, бес в ребро.

— Да за чем же дело стало?

— Я знаю, что и родным того же хочется, да вишь, девка-то артачится: говорит, стар больно.

— Я не буду больше с тобою спорить, — говорила графу старая княгиня, сидя с ним на диване в одной из отдаленных комнат графского дома, — скажу тебе по правде, что нам эта женитьба очень по сердцу, но скажу и то, что девка тебя терпеть не может — мы отдаем ее за тебя неволею; знай это — да и в самом деле, правду сказать, ты уже

не молод, батюшка.

Пламенный старик целовал руки у княгини.

— Будь спокойна, матушка; не смотри, что я стар: твоя красавица привыкнет ко мне и полюбит; наружность обманчива; верь, ни одному молодяку так не любить княжну, как я. Брильянтами ее засыплю, и тебя, и всю семью твою.

— Да уж я, батюшка, по твоей милости и так не знаю, куда от них деваться.

По мраморным ступеням сходил жених в богатой, блестящей одежде. У подъезда стоял золоченый рыдван с графским гербом, запряженный цугом черно-пегих лошадей; кругом теснились гайдуки и скороходы, великолепно одетые.

— Куда ты? — говорили они, толкая женщину в чухонском платье. — Не до тебя теперь! Видишь, теперь боярин едет жениться.

Граф, услышав шум, остановился на лестнице; говорят даже, что он побледнел, но это невероятно, потому что лицо его было крепко натерто румянами.

— Пустите, пустите ее! — сказал он слабым голосом. — Пустите ее! Вы знаете, что всем ко мне свободный доступ.

Чухонку впустили; граф возвратился в приемную и по обыкновению, облокотившись на

мраморный столик, старался принять на себя вид спокойный и важный.

— Ну, что тебе надобно, моя милая? — сказал он вошедшей чухонке. — Говори скорее, потому что ты видишь: мне некогда.

— А что же, Якко, — отвечала ему Эльса, — скоро ли поедем домой на Иматру? Ведь не век здесь жить…

— Послушай, моя милая, — сказал граф важным голосом, — ты понимаешь, что мне теперь нет возможности с тобою ехать на Иматру, да и не следует. Что же до тебя касается, то я советую тебе ехать туда за добра ума; иначе я вынужден буду… ты понимаешь… Замечу тебе, красавица, что ты уже слишком смела; вот тебе денег на дорогу, будь спокойна — и впредь тебя не оставлю…

С сими словами граф подал ей кошелек, наполненный золотом.

Эльса захохотала; еще, еще… Ее голос все громче и громче… Это уже не хохот, а треск, а гром… Стены колышутся, разваливаются, падают… Якко видит себя в прежней своей комнате; пред ним таинственная печь, из устья тянется пламя, обвивается вкруг него; он хочет бежать… Нет спасения! Стены дышат огнем, потолок разрушается, еще минута… И не стало ни алхимика, ни его

печи, ни Эльсы!

— Жаль! — говорили миряне, проходя на другой день мимо пепелища. — Дом-то красильщика сгорел; только что было начал разживаться, да и сам, говорят, не выскочил, сердечный.

— Куда, слышь ты! Он масло варил, а масло-то и вспыхнуло, пролилося; он туда-сюда, хотел затушить, но масло не свой брат, так все и охватило.

— Жаль! Добрый малый был; приятно было с ним вести дело.

— Только у него иногда ум за разум заходил.

— И то правда. Да не пора ли закусить, соседушко?..

Этим оканчивался рассказ дяди.

— Скажите же, дядюшка, — заметил я, — что тут общего между этим рассказом и нашими приключениями в доме купца, вашего знакомого?

— Кажется, очень ясно, — отвечал дядя, улыбаясь, — пепелище было куплено покойным князем; на нем он выстроил дом, который теперь достался купцу.

— Ну, что же?

— Все не понимаешь! На том самом месте, где была лаборатория алхимика, находится чудная зала, в которой мы были.

— Так вы предполагаете, дядюшка, что эти крики…

— Я ничего не предполагаю… а понимаю очень ясно, чего и тебе желаю.

— Но послушайте, дядюшка, неужели в самом деле вы верите, что Саламандра сожгла вашего финляндца?

— Иные, пожалуй, говорят, что г. Якко просто делал фальшивую монету, а потом, чтоб все прикрыть, сжег дом и убежал вместе с своею помощницею чухонкою: так в Москве полагали многие; другие говорили, что он был сумасшедший; третьи — что он притворялся сумасшедшим… Из всех этих мнений можешь выбирать любое…

Признаюсь, я до сих пор убежден, что все это выдумка, что дяде хотелось пошутить надо мною и все эти крики, тени не иное что, как фантасмагория. Надеюсь, что всякий благоразумный читатель в этом согласится со мною.

1844



